

**ЛИТЕРАТУРНЫЙ
БИБЛИОФИЛ**



ЛИТЕРАТУРНЫЙ БИОБИДЖАН

поэзия
проза



ХАБАРОВСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1984

ББК 84.3
Р 2
Л 64

Общественная редколлегия:

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ В. Н., МАРТЫНОВ В. Т.,
МИЛЛЕР Б. И., ПАНМАН В. И., ШОЙХЕТ Р. С.

Составитель
ШОЙХЕТ Р. С.

Художник
А. В. КОЛЕСОВ

Л 64 Литературный Биробиджан. Составитель Р. Шойхет. Хабаровск: Кн. изд., 1984. — 224 с.

Сборник произведений писателей и поэтов Еврейской автономной области. Издание посвящается 50-летию образования ЕАО.

Л $\frac{4702010200-36}{M160(03)-84}$ без объявл. — 84

ББК 84.3
Р2

© Хабаровское книжное издательство, 1984

От самых истоков



1928 год. Всего шесть лет прошло с тех пор, как на дальневосточной земле отгремела гражданская война. В нескольких остановках западнее легендарной Волочаевки есть на Транссибирской магистрали небольшая станция Тихонькая. Редко какой поезд на ней останавливается. И вот сюда стали прибывать эшелоны. Это были первые переселенцы — евреи из городов и местечек Украины и Белоруссии. Что же произошло? Отчего вдруг забурилась жизнь в отдаленном уголке приамурской земли?

Великая Октябрьская социалистическая революция принесла мир и свободу большим и малым народам бывшей царской России, в том числе и еврейским народным массам, создавала все необходимые условия для полнокровного их развития и дальнейшего расцвета. Ведь до Советской власти евреям, обитателям местечек, было запрещено заниматься сельским хозяйством, селиться в крупных городах, и им, по образному выражению Шолом-Алейхема, оставалось одно: стать людьми воздуха.

Поэтому в марте 1928 года правительство принимает решение заселить трудящимися евреями свободные земли в Приамурской полосе Дальневосточного края.

Интенсивное переселение, широкий размах строительства и быстрое развитие этого региона способствовали тому, что в августе 1930 года Президиум ВЦИКа принял постановление об образовании в составе Дальневосточного края Биробиджанского района, а спустя четыре года, 7 мая 1934 года — решение об образовании Еврейской автономной области.

Решения Коммунистической партии и Советского правительства, проникнутые заботой о благе трудящихся евреев, вызвали большой энтузиазм среди всех сло-

ев еврейского населения, в том числе и среди еврейских писателей, посчитавших своим почетным долгом содействовать переселению трудящихся на Дальний Восток, их закреплению здесь и успешному труду по освоению богатств приамурской земли.

С первыми же эшелонами переселенцев на станцию Тихонькая прибыли Виктор Финк, Давид Хайт и Наум Фридман. Они же и создали самые ранние очерки и рассказы о первостроителях Валдгейма, Амурзета и Бирофельда.

Среди первых еврейских писателей в Тихонькую приехал Меир Альбертон — автор уже известной к тому времени книги «Шахты». В созданной здесь новой книге Меир Альбертон правдиво показал, как вчерашние местечковые люди берутся за трудное дело — корчуют тайгу, пахут землю. Такую же книгу о первостроителях Биробиджана вскоре создает писатель Шмуэл Гордон.

Быть в Биробиджане среди его строителей, писать о них стало делом чести для еврейских писателей. Вскоре после начала переселения сюда приехал прозаик Давид Бергельсон. Свою книгу о Биробиджане он написал с чисто журналистской оперативностью, но по художественному уровню она не уступала другим его произведениям.

С большой любовью он рисует образы людей, осваивавших первые гектары таежной целины, картины суровой дальневосточной природы, дает реалистически правдивое описание тогдашних многочисленных трудностей освоения новых земель и того энтузиазма, с которым они преодолевались.

В 1930 году в национальном районе стали издаваться газеты «Биробиджанер штерн» и «Биробиджанская звезда». Оба печатных органа тотчас же стали центром, вокруг которого сгруппировались писатели как приехавшие в Биробиджан, так и выросшие уже на месте.

Первым редактором газеты «Биробиджанер штерн» стал приехавший вместе с сыном Эммануилом с Украины видный партийный и литературный деятель Генэх Казакевич. У поэта Эммануила Казакевича вскоре вышла здесь из печати неказистая на вид, на серой газетной бумаге в еще плохо оборудованной типографии, первая книжка стихов на еврейском языке. Это была

первая книжка человека, которому впоследствии было суждено прославиться как мастеру советской прозы. В те годы юный Казакевич в споре с тайгой заявлял:

Не из пугливых мы, чтоб вы знали.

Видите это красное знамя?

Что Это значит?

Ах, что это значит?

Значит, что жизнь здесь пойдет иначе...

Вслед за Казакевичем приезжают и остаются жить и работать в молодом городе Бузи Олевский, Гирш Добин, Тевье Ген и Ихнел Фаликман. Поселяются здесь поэтесса Любовь Вассерман и высланный за участие в революционном движении в Бразилии писатель Сальвадор Боржес. Начинает печатать свои стихи молодой амурзетский тракторист, будущий поэт Исаак Бронфман.

В 1934 году, по окончании Московского государственного педагогического института, в Биробиджан приезжает и остается здесь до конца своих дней писатель Григорий Рабинков, а спустя год прибывает и автор этих строк.

В газете «Биробиджанер штерн» работают способные начинающие поэты Арон Гофштейн и Генах Койфман, погибшие затем на фронтах Великой Отечественной войны. В том же 1934 году в газете печатаются первые стихи 16-летнего учащегося одной из биробиджанских школ Арона Вергелиса. Впитанная с детства приверженность к дальневосточной земле, любовь к ее людям и их делам с особой силой зазвучали в стихах юного поэта, и это сразу обращает на себя внимание читателей.

Вот эти писатели и образовали первое литературное объединение в Биробиджане. На заседании секретариата Союза писателей СССР 27 января 1940 года в члены Союза писателей были приняты три литератора, чье творчество было связано с Еврейской автономной областью — Эммануил Казакевич, Арон Вергелис и автор этих строк.

В борьбе с фашистскими захватчиками смертью храбрых пали Бузи Олевский, Шмуэл Годинер, Мойсей Гольдштейн и Владимир Шульман. Но с конца пятидесятых — начала шестидесятых годов литературная жизнь в Биробиджане вновь оживилась. Вместе с Исааком Бронфманом, Любой Вассерман, Наумом Фридма-

ном, Сальвадором Боржесом и Григорием Рабинковым активными членами областного литературного объединения стали Николай Капусто, Василий Морозов, Роман Шойхет, Виктор Соломатов, Леонид Школьник, Ольга Ермолаева, Анатолий Кобенков и другие.

Члены областного литературного объединения регулярно печатаются на литературных страницах областных и краевых газет, в журналах «Советиш геймланд» и «Дальний Восток», выступают по областному и краевому радио. В последние годы в издательствах Москвы и Хабаровска вышли книги Г. Рабинкова, Б. Миллера, Р. Шойхета, И. Бронфмана и других. Творчество биробиджанцев было представлено в коллективных сборниках «На берегах Биры и Биджана», «Костер на снегу», «Волшебное дерево».

Остановлюсь немного подробнее на творчестве тех поэтов и прозаиков, кто накрепко связал свою жизнь с областью. К сожалению, не все они дожили до ее полувекового юбилея.

Поэт Исаак Бронфман. Его не стало в 1978 году, но, как живой, стоит он перед глазами всех знавших его. Воспитанник детского дома на Украине, он был одним из первостроителей области, работал трактористом в Амурзете и слесарем в Облученском депо. Бронфман принадлежал к славному племени комсомольцев тридцатых годов, для которых не было ничего священнее слов: «Родина зовет». По зову Родины он приехал осваивать земли Приамурья, по ее кличу пошел на фронт.

В освобожденной нашими войсками столице Венгрии у поэта состоялся неожиданный и примечательный разговор с тамошним евреем-лавочником, о котором он рассказал в стихотворении «Гешефт». На вопрос: «Какой вы там имеете гешефт?» он слышит ответ советского офицера из далекого Биробиджана:

Вы все еще — хозяином лавчонки,
А я давно — хозяином страны.

Хорошие отзывы читателей и критики получила переведенная на русский язык и изданная «Советским писателем» книга рассказов Григория Рабинкова «Земляки». Сам привыкший всю жизнь усердно трудиться, он и писал о людях, любящих свой труд. Человек и его дело — вот главная тема рассказов Рабинкова, о ком бы он ни писал, кто бы ни были его герои. Это и старый

Бере из рассказа «Беровы рассветы», и Гедалья Брумински из «Праздничных часов», и учительница из рассказа «Письмо». «Самая скромная работа, — говорит писатель, — если делать ее с любовью, возвышается до истинного творчества». Этим ценно и творчество самого Рабинкова.

Любовь Вассерман можно было видеть в Биробиджане всюду: в детском саду, на фабрике, на стройке. Туда влек ее жадный интерес к жизни окружающих ее людей. Кроме стихов Л. Вассерман писала рассказы и очерки. На страницах журнала «Советиш геймланд» была дана высокая оценка ее творчества.

Как бы перекликаясь с Исааком Бронфманом, воспевающим красоту нашей природы и ее людей, Л. Вассерман в стихотворении «Приамурье родное» писала:

Хвала тебе, осенний листопад,
Ты весь — как тихо сказанное слово,
В котором и законченность былого,
И то, чему пристало наступать...

Почти сорок лет прожил в области Сальвадор Боржес. Все его очерки и рассказы, созданные здесь, повествуют о первостроителях области, о их жизни и труде.

Слух и сердце журналиста и поэта Наума Фридмана всегда были устремлены к тому, чтобы постичь красоту родного дальневосточного края и великий смысл наших дней, наполненных самоотверженным трудом и творчеством созидания. В одном из последних стихотворений Наум Фридман писал:

Покуда бьется
Жизни пульс,
Здравствуй,
Светлый день!

Он всю свою жизнь шагал в ногу со временем и страной.

Плодотворно трудятся в наши дни в литературном объединении области прозаик Роман Шойхет, поэты Василий Морозов, Леонид Школьник, Виктор Соломатов, Ирина Метелкина, Лена Котова.

В 1978 году Хабаровское книжное издательство выпустило книгу Романа Шойхета «Родная земля», а в

1982 году — вторую книгу «Хлеборобы». Обе повести — о селе, о колхозной жизни. Их главные герои — пахари и сеятели. Чувствуется, что персонажи книг известны Шойхету не по командировочным наездам, а глубоко, изнутри.

Повесть «Хлеборобы» посвящена памяти председателя колхоза «Заветы Ильича» Владимира Израйлевича Пеллера. Все, кто знал этого замечательного человека, труженика и воина, легко узнают его в образе героя повести Льва Матвеевича Ковтуна. В богатой событиями биографии Пеллера был такой эпизод. Вместе с другими советскими деятелями он был приглашен бельгийско-советским обществом дружбы на пресс-конференцию в Брюссель. Пробравшиеся на нее сионистские клеветники пытались превратить конференцию в анти-советское сборище, но это им не удалось. Одним из тех, кто дал достойный отпор клеветникам, был Пеллер. В уста Льва Матвеевича Ковтуна автор вкладывает гневную отповедь сионистским экспансионистам. В настоящее время Роман Шойхет работает над большим полотном, охватывающим многие годы — от начала Великой Отечественной войны до наших дней.

С Леонидом Школьниковым мне часто приходится выступать вместе на литературных вечерах в школе, перед пограничниками, в рабочем общегитиин. Меня всегда удивляет его манера чтения стихов. Он читает их так тихо, как будто перед ним не большая аудитория, а один-единственный рядом сидящий слушатель... У меня всегда возникает опасение, что его не услышат, но опасения напрасны, — его слушают очень внимательно, и чем тише читает поэт, тем громче потом звучат аплодисменты... В этой тихой манере чтения — характер поэта и его стихов.

Тойкая лирика в стихах Леонида Школьника сочетается с глубокой гражданственностью.

Я все время чувствую дыхание века,
Опаленного войной, —

пишет он в стихотворении «Вьетнамскому сверстнику», и то же в строчках о себе:

...Если мир опутает опасность
И взойдет беда над головой,
Я солдат. Я рядовой запаса,
Я имею адрес полковой.

Виктор Соломатов начал печататься рано. Но пути поэзии неисповедимы, а судьбы поэтов изменчивы, так что сам он сказал о себе в стихах:

А из ранних я —
самый поздний,
А из поздних я —
самый ранний.

Преобладающий лирический герой его стихов — Романтика. Но его Романтика — с крепкими мускулами, с думающей головой, с точной жизненной пропиской.

Более полувека прошло с тех пор, как над не тронутыми еще таежными просторами, вместе со стуком топора и звоном первой пилы, со страниц только что родившихся в молодом Биробиджане газет зазвучало на двух языках призывное страстное слово партии. С той же силой и страстью звучит это слово в наши дни, теперь, когда на месте дремучей тайги, непроходимых марей раскинулись города и села, выросли заводы и фабрики, тучнеют под солнцем хлебные нивы, когда дети и внуки переселенцев, первых строителей области, успешно завершают задания одиннадцатой пятилетки.

Вспоминая минувшее и размышляя о настоящем, будет уместным сослаться на небольшой отрывок из книги Давида Бергельсона о Биробиджане.

...На грузовике, прицепленном к трактору, группа переселенцев едет из Тихонькой в Бирофельд. Теперь рейсовый автобус проходит этот путь за час, а тогда это была длинная и тяжелая дорога. Проезжая мимо сопки, один из сидевших в кузове автомашины, инженер Тоди, принимается фантазировать о том, какой город вырастет тут в будущем. Он представляет себе «большой шумный город со многими предприятиями на окраинах, социалистический город бесклассового общества. А в центре этого города — зеленая сопка, на которой уже выстроен большой санаторий...

— А еще выше санатория, — вмешивается в разговор молчавший до этого агроном Штейн, — на гранитном пьедестале будет стоять памятник Ленину — Ильич с простертой вдаль рукой...»

Да, город есть, большой, шумный, индустриальный,

зеленый. И в центре этого города — Биробиджана — стоит на высоком пьедестале памятник Ленину. Весь он устремлен вперед, весь — бессмертный призыв к новым свершениям во имя мира и счастья людей на нашей планете...

В этом сборнике представлены произведения тех писателей и поэтов, чье творчество тесно связано с Еврейской автономной областью.

Б. Миллер

Поэзия





ЭММАНУИЛ КАЗАКЕВИЧ



Эммануил Генрихович Казакевич (1913—1962), лауреат Государственных премий СССР, родился на Украине. В тридцатых годах жил и работал в Биробиджане. Участник Великой Отечественной войны.

Печататься начал в Биробиджане. Война, которую Эм. Казакевич прошел от рядового бойца до помощника начальника разведки армии, проблемы долга и совести, свободы, ценность человеческой жизни — основные темы произведений «Звезда», «Двое в степи», «Весна на Одере», «Дом на площади» и других рассказов, повестей и романов писателя.

В повести «Синяя тетрадь» Эм. Казакевич рассказывает о жизни В. И. Ленина в Разливе.

ПЕСЕНКА
О СТАНЦИИ ТИХОНЬКОИ

Где на сопках синих
солнышка с излишком,
станция стояла —
маленькая слишком.
Тихонькая станция,
робкий огонечек.
Но однажды маятный
выдался денечек:
зашумела станция,
поезда встречая
из Орла и Жмеринки,
Умани и Гая.
Все переселенцы
местностью довольны —
сопками крутыми
и простором вольным,
сочными лугами,
где лишь ветер бродит...
— Значит, остаемся?
— Таки да, выходит!
— Эй, товарищ Мойше,
вымолвите слово:
кто там возле станции —
тигр или корова?
— Что же, тигр — неплохо,
но корова лучше...
Тихонькая станция —
в будущее ключик.
Те, кто в эшелонах
шумных приезжают,
город свой построят
над Бирой мечтают, —
солнечный, как песня,
юный и прекрасный,
как улыбка, светлый,
как удача, ясный!

1931

◆

7 МАЯ 1934 ГОДА

Утром седьмого мая
над городом дождь случился.
Он тараторил бойко,
бил в барабаны крыш.
И, наигравшись вволю,
в сопках зеленых скрылся —
в начале месяца мая
веселый дождик-малыш.

Так начиналось утро:
тропинки не выбирая,
мальчишки бежали в школу
по лужам вперегонки.
И пестрое стадо вышло
из темноты сарая,
и в этот же час к Хингану
вышли промысловики.

И в этот же час блеснуло
солнце в небесной шири,
охапки лучей швыряя
в окна новых домов.
И в синеву потянулся
самый весенний в мире,
счастливый и юный город, —
я славить его готов.

Мой город — добрый хозяин:
проворен и крепко скроен,
он снарядил подводы,
послал в село семена,
на тракторах забросил
бревна для новостроек,
гудками провозглашая:
— С приходом тебя, весна!

А ветер, как гость случайный,
в квартиру мою ворвался,
множество разных подарков
стал раздаривать он:
запахи трав и почек,
прозрачные звуки вальса,

твоим простором ясным,
людьми,
что песне солнечной под стать.
Душа горит желанием прекрасным:
все, чем богат,
тебе одной отдать.
1933



* * *

Я молод. И часто вечерней порою
без меры шутил, тосковал без причины.
И сердце вовеки не холил в покое, —
горячее, верное сердце мужчины.
Я сдерживал волю свою, как дыханье,
но мускулы пели, готовые к бою, —
то вдруг начинал говорить я стихами,
то вдруг замолкал в тишине травостоя.
Я вскачь по таежным распадкам носился,
и вздрагивал конь подо мной от испуга.
Он даже кустов, как волчат, сторонился
и глазом косил на случайного друга...
Я молод. Со мною такое бывало:
я плакал, свалившись на мшистую землю.
И все же беда меня с ног не сбивала —
безбедную жизнь ну никак не приемлю!
Судьбе не поставить меня на колени —
я молод, и верю в призванье поэта:
я песню пою о моем поколенье,
о нашей Отчизне, что звонче рассвета.
В лучах восходящего солнца большого,
отмеченный дружбой людей настоящих,
мечтаю сказать настоящее слово
о преданных делу,
о верность хранящих!
1931



МОИ ПЕСНИ

Туманные аллеи красных сосен
Хранят одним им ведомые сны.
И в золоте разливы прошлых весен,

И пьяный воздух нынешней весны.
И, хохоча беспечно, мы идем
Гуда, куда аллен нас уводят.
И новых весен жаждем мы и ждем.
Они приходят и они проходят.
Оглянемся встревоженно-тихи.
И друг у друга ничего не спросим,
И лишь негромко прозвучат стихи
В аллеях сосен и ушедших весен.

1932



* * *

Где-то там, в юнолетье моих увлечений,
Отцвела ты зарей над рекою вечерней.

Я искать тебя буду во взгляде случайном,
В тихих зарослях леса, в толчее городов,
В криках чаек, кричащих над плесом
отчаянно,
В чистой ясности робких цветов.

Обречен я на поиск. Но чувствую это —
Не найти мне тебя и в разливе рассвета.

Ну, а может, печаль зря мне сердце тревожит —
И судьба не дала нам иного пути,
Может, был это миг, и миг этот прожит
И тебе от меня надо было уйти?

Убежать, улететь, унести, раствориться...
Почему ж тогда слезы кипят на ресницах?

И зачем ты в глаза мне так долго глядела?
Лучше матери слушать меня как могла?
Для чего ты мне песни раздольные пела?
Не затем же, чтоб сердце окутала мгла.
Оба были с тобою мы слепы и глухи.
Нет тебя. Мне остались одни лишь стихи.
Я — глупец. Прожил жизнь я с тобой, как

во сне.

И теперь неприкаянно всюду брожу.

Но проклятье судьбою отпущено мне —
Даже все потеряв, все же я нахожу
Песни синие в раненом сердце моем.
Их дуэтом с печалью мы нынче поем.

1933



ЗА ПОРОГОМ Я ОСТАВИЛ...

По возвращении из шумных городов
Лицо твое я вижу по-иному.
Я вешний ландыш принести готов
И разбросать красу его по дому.
Я о любви не спрашивал тебя.
(Как крепко пахнет ландыш-недотрога!)
Зачем же ты, смущаясь и любя,
Пытаешь, где легла моя дорога.
Там, за порогом, оставляю я
Пыль всех дорог, что мне даны судьбою,
И колкий снег, и россыпи дождя,
И все те дни, что жил я не тобою.

1932

АРОН ВЕРГЕЛИС



Арон Алтерович Вергелис родился в 1918 году в местечке Любар на Украине. В 1931—1936 годах жил в Биробиджане. Закончил литературный факультет Московского педагогического института им. В. И. Ленина. Член КПСС, участник Великой Отечественной войны. Имеет правительственные награды.

В литературе Арон Вергелис дебютировал стихотворением, опубликованным в 1934 году в газете «Биробиджанер штерн». Он автор стихотворных сборников на еврейском и русском языках «У родника», «Биробиджанское поколение», «Жажда», «Вторая встреча» и других, а также книги очерков и романа «Время».

Арон Вергелис живет в Москве. Он — главный редактор журнала «Советиш геймланд».

ПЕСНЬ О БЕЗРУКОМ ЧЕЛОВЕКЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Шел Калман вдаль.

Его встречал вдали
Знакомой песней незнакомый голос:
«Коснись рукой не вспаханной земли —
Поднимешь налитой пшеничный колос».

Шел Калман вдаль.

Знакомые слова
Рассеять не могли его печали,
Ему хотелось спрятать рукава,
Где два обрубка вместо рук торчали.

Эй, замолчи, певец, не будь жесток —
Взгляни: войною путник искалечен.
И золотой пшеничный колосок
С земли родной он поднял бы, да нечем.

Эй, замолчи, певец, печаль горька,
И без тебя она грызет солдата:
Он не сорвет и малого цветка
Рукою, корчевавшей пни когда-то.

2

Как бы с трудом переставляя ноги,
Он шел, казалось, из последних сил.
Он шел, как будто бы не знал дороги,
И в темноте дорогу находил.

Но Калман знал здесь все: и тот овражек,
И тот бугор, и тот пологий скат.
Ему казалось, что и тучка та же
Плывет над ним, что много лет назад.

Он все узнал. Должно быть, под пшеницей
Следы, что он оставил в ту весну,

Когда пришел сюда с тайгой сразиться
И вздыбить вековую целину.

Пожалуй, лишь хлеба здесь были новы,
И те колосья, что взошли сейчас,
Не помнят и не знают рук суровых,
Взрыхливших эту землю в первый раз.

3

Могучий кедр стоит, расправив плечи.
Он здесь один: хлеба, хлеба вокруг.
Он как бы удивился этой встрече:
«Ты помнишь ли меня, мой давний друг?»

Да, Калман не забыл...

На ранней рани
Перепахал он этот бывший лес,
И кедр один, как память глухомани,
Стоял, взметнув вершину до небес.

Их мать-природа одарила щедро,
Они как бы тягались — кто сильней.
Один из них был самым рослым кедром,
Другой был самым рослым из парней.

А Калман был в те годы балагуром,
Он крикнул кедру:

— Нынче недосуг,
Но погоди, с тебя сдеру я шкуру,
Тому порукой пара этих рук!

Стоит, как прежде, великан таежный,
Могучий, выросший в землю глубоко.
Спит мальчик в люльке у его подножья:
Наверно, где-то мать недалеко.

Тень убирая из-под ног солдата,
Шуршит ветвями кедр, его дразня:
«Где ж руки, брат, которыми когда-то
Ты шкуру обещал содрать с меня?»

Поплелся Калман дальше еле-еле.
Вдруг стон иль плач откуда-то в тиши
Послышался... Не то из колыбели,
Не то из глубины его души.

Нет, это ветер взвыл и тучи пыли
Внезапно поднял с полевых дорог,
И пыльные колосья задымили, —
Казалось, будто кто-то их поджег.

И где-то даль от грома раскололась.
И почернело небо, а потом
Сзывал жнецов высокий женский голос.
Был этот голос Калману знаком.

Постойте!.. Что увидел он сначала?
Порывом ветра сорванный платок,
Потом ее — она к нему бежала...
И он обнять любимую не смог.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Распались тучи в вышине,
Прошли над сопками крутыми...
Сидит безрукий на стерне
С односельчанами своими.

На шутку переводит речь
(Старается, по крайней мере):
— Теперь шинель мне сбросить с плеч
Трудней, чем шкуру скинуть зверю.

Но все же, как там ни шути,
Ему не пересилить боли —
Его рукам не отрасти,
Он не натрет на них мозолей.

И по привычке молотьба
Солдату кажется стрельбою,
И поле, где стоят хлеба,
Не мирным полем — полем боя.

Эй, погоди, не хмурься, брат,
Жить на земле не так уж плохо!
Взгляни: вокруг друзья сидят,
И глаз с тебя не сводит Брохэ.

2

...Любимая была близка.
Она плеча его касалась,
И Калману ее рука
Почти своей рукой казалась.

Молчал он, говорить не мог.
И на какое-то мгновение
Его печаль ушла, как ток
Уходит через заземление.

И все же, как там ни крути,
Что мог он делать в этом поле?..
Его рукам не отрасти,
Он не натрет на них мозолей.

3

Чернявый мальчик босоногий,
Серьезен, важен, хоть и мал,
Пыль поднимая по дороге,
К жнецам сидящим подбежал.

Он сунул руку за рубашку
И из-за пазухи тотчас
Достал какую-то бумажку:
— Кто здесь за старшего у вас?

И взгляд на Калмана он бросил,
Два ряда планок увидал
И понял, что с своим вопросом
Он, кажется, впросак попал.

Кому же старшим называться,
Как не герою?

— Вот прогноз.

А здесь должны вы расписаться! —
Он Калману тетрадь поднес.

И, вдруг сообразив, что снова
Не то, что следует, сказал,
Посыльный, зарыдать готовый,
Прочь по дороге побежал.

4

Слова прогноза были кратки.
Их не спеша прочел солдат:
«С рассветом выпадут осадки,
Пять суток будет дождь и град».

Убрать до ливня — вот спасенье —
Весь урожай: пшеницу, рожь.
Нет выхода другого. Кто ж
Словами выразит решение?

— Пришел ты, Калман, в час беды,
Ответь же, помоги народу,
Как хлеб спасти нам от воды,
Ведь ты прошел огонь и воду!

Он и растерян был, и рад.
Он встал с земли, расправил плечи...
Кому держать винтовку нечем,
Тот может в бой вести солдат!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Над полем птицы певчие кружили,
Не умолкал завистливый трезвон:
«Кви-кви, у человека нету крыльев,
Кви-кви, но выше нас летает он».

Посередине поля кедр могучий,
Шумя ветвями, как бы говорил:
«У человека обрубили сучья —
Он корнем землю крепче ухватил».

Следил безрукий Калман за косьбою,
Теперь стоял он крепко на земле.
И впрямь напоминала поле боя
Долина, где брели жнецы во мгле.

Давно стемнело. На часах двенадцать.
Рожь стала гуще. Духота, жара.
И тучи — попасться и сил набраться —
За лесом притаились до утра.

Глядит солдат на жниц трудолюбивых,
Косынки их скрываются в хлебах,
Таких вот женщин, сильных и красивых,
На украинских видел он полях.

И земли этой бывшей глухомани,
Где лишь болота были и тайга,
Теперь похожи на поля Кубани —
Там Калман шел, преследуя врага.

Как старшему, ему рапортовали,
И наблюдал он, по-хозяйски строг,
Чтоб питьевую воду пополняли,
Чтоб хлеб и кашу доставляли в срок.

От бригадиров скирды принимал он.
Шутил и первым песню начинал.
Он, знавший цену краткому привалу,
Недолгий отдых жниц оберегал.

И, опьяненный близкою победой,
Он, обходя участки всех бригад,
Казалось, шел по собственному следу,
Оставленному много лет назад.

И люди, с ним столкнувшиеся в деле
И слышавшие страстные слова,
На рукава пустые не глядели.
Он сам забыл, что пусты рукава.

В глубь вековой тайги,
к лесным рабочим,
Устроившим под кедрами ночлег,

Пришел в предгрозые,
на исходе ночи,
Усталый незнакомый человек.

Таежники, богатыри лесные,
Глядели молча, сон стряхнув едва,
На незнакомца — у него пустые
За пояс уходили рукава.

Стараясь просьбу излагать короче,
Сказал пришелец шепотом почти:
— Там, в поле, не хватает рук рабочих,
Там гибнет хлеб, там надо хлеб спасти!

Хоть и сгушалась ночь, но шла на убыль,
На небе не мерцало ни звезды,
Тайга скрипела: «Братья лесорубы
Соседей не оставят в час беды!»

И, повинуюсь дружеским законам,
Они сказали: — Что ж, веди нас, друг! —
И вслед за человеком, рук лишенным,
Пошли туда, где не хватало рук.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Светает.

Убран хлеб, жнецы ушли.
Разносится над полем звонкий голос:
«Коснись рукой неспаханной земли —
Поднимешь налитой пшеничный колос!»

Вчера вернулся в этот край солдат,
Сегодня хлебороб уходит с поля
С той песнею, что день тому назад
Не мог он слышать без тоски и боли.

И радостная Брэхэ по стерне
Идет с любимым рядом, как бывало.
Он говорит: — Сверни сигарку мне...
Ну что ж, довольно ловко для начала!

И, глядя на него счастливым взором,
Она смеется: — Так и будем жить,
Ты, Калман, можешь сдвинуть с места горы,
А папироски буду я крутить!

2

Опять ведет дорога мимо кедра.
Ни перед кем вершины не клоня,
Лишь чуть скрипит он под напором ветра:
«Эй, Калман, не забыл ли ты меня?»

Да, Калману напоминать не надо,
Он никогда не позабудет дней,
Когда, на кедр похожий, с кедром рядом
Стоял он, самый сильный из парней.

Кедр и теперь такой, как был.
Могуч он.

Он крепко врос корнями в глубь земли.
Жнецы ушли, густеют в небе тучи.
Ребенка вместе с люлькой унесли.

3

И вдруг все поле охватило дрожью,
Холодный ветер взвыл на все лады,
Прошел над заскирдованною рожью,
Ключки соломы выдрал из скирды.

Потом глухие донеслись раскаты
Откуда-то со стороны села,
И молния сверкнула, как лопата,
И в землю маслянистую вошла.

И в тот же миг, обламывая сучья,
Со стоном, повторившимся вдали,
Внезапно наземь рухнул кедр могучий,
Мохнатый корень вырвав из земли.

Всем телом вздрогнул Калман, пораженный,
И кедр у ног своих увидел он.
Увидел в блеске молний хлеб спасенный...
Он знал, какой ценою хлеб спасен.

Отныне Калман знал, что он на месте,
Что и безрукий людям он помог...
Он ближе подошел к своей невесте
И обнял грудью, сердцем — всем, чем мог.

Минула ночь. Хоть ливень лился щедро,
Все ж наступил рассвет — начало дня...
Подумал Калман: «Я могучей кедра —
Гроза войны не подсекла меня!»

1948

ЛЮБОВЬ ВАССЕРМАН



Любовь Шамовна Вассерман (1907—1975) родилась в местечке Словатич, в Польше. В 1924 году эмигрировала в Палестину. Четыре года спустя переселилась на постоянное местожительство в Биробиджан.

Печататься Любовь Вассерман начала в 1928 году в прогрессивных газетах и журналах Польши, США, Палестины. Издала книгу «Вечера».

Ее очерки, стихи и рассказы о становлении Еврейской автономной области и о ее людях часто публиковались в областных газетах «Биробиджанер штерн» и «Биробиджанская звезда», в журнале «Советиш геймланд» и в коллективных сборниках.

БИРОБИДЖАН — МОЙ ДОМ

Хочу, чтоб знали все, всем рассказать хочу:
Биробиджан — мой дом, душой к нему лечу.
К вам, пахари, творцы, строители дорог, —
здесь прошлое мое,
любви моей исток.

Я среди вас, друзья, трудилась и жила,
писала по ночам, костры утрами жгла,
и по ночам опять писала о тебе,
мой город над Бирой,
единственный в судьбе!

Но шел за годом год, и не забыть вовек:
болотам и тайге не сдался человек.

И вырос у Биры наш светлый, добрый дом,
в котором мы с тобой счастливые живем.

Пусть юность пронеслась, как бирская вода,
но город молодым остался навсегда,
и я хочу друзьям напомнить об одном:
Биробиджан — мой дом.

И песнь моя — о нем.

1974



* * *

Весна.
Играют дети
в старом парке.
Звонят их голоса.
Наряды яркие.
Шумят, галдят,
щебечут,
будто птицы.
И в сердце
радость
мягко постучится.

Их смех
в весеннем парке

раздается,
И кажется —
сама Бира
смеется.
И песня разливается
все шире.
Они поют
о мире
в целом мире.

Мне думается:
«Век не даром
прожит.
Мы начинали,
им дано
продолжить
дела отцов
своих
и старых дедов.
Все впереди
еще у них
победы».

1968



* * *

А что здесь было? Дебри да болота,
Да черная в бочажинах вода.
Была работа до седьмого пота
В тот год, когда мы прибыли сюда.
Что вижу нынче? Высоко-высоко
Над нами ходят стаи голубей.
И отраженье солнца в сотнях окон
День делает лучистей и светлей.
Был путь наш прям, и праведен,
и труден,
Но город — как рассветная краса.
Вонзились в небо заводские трубы,
Взметнулись фабрик новых корпуса.
А завтра что? Жизнь год от года
краше.
Мы нынче песни новые поем.

1965



За десять лет
И улыбается своим
Со школьной
постичь они должны.
внучатам Ленин
свежекрашеной стены.

1967



Русло речки становится уже —
Прихватило ледком берега.
Лишь по стрелю, охвачены ужасом,
Волны мчат. Замерзает река.
Опадают снега на растущие эти закраины.
Жмет сильнее мороз.
С каждым днем меньше чистой воды.
Синим льдом все озера,
как люки, вглухую задраены

И присыпаны снегом —
 белым цветом неясной беды.
Стоны ветра —
 тревожную темой в оркестре,
Голос скрипок все выше.
Немыслим его бесконечный полет.
Не сдается река.
 В этом ложе, холодном и тесном,
Молча бьется она.
 Если борется — значит живет.
Вот по самому стрежню
 проносятся острые льдины,
Прикипая к холодным,
 уже ледяным берегам.
И душа моя стонет,
 с рекою в порыве едином,
И зовет, и зовет:
— Погоди, не сдавайся врагам!
Но природой всему
 на земле обозначены сроки.
И застыла река.
 Оковал ее мертвый покой.
Я не верю в него!
 И весной голубой и высокой
Полюбуюсь еще я
 поднявшей восстанье рекой!

САППА ВЕХТЕР



Сарра Наумовна Вехтер родилась в 1928 году в селе Илия, в Белоруссии.

С 1948 года постоянно живет в Биробиджане.

Стихи Сарры Вехтер печатаются в областных газетах «Биробиджанская звезда» и «Биробиджанер штерн».

БИРОБИДЖАН

Разлив Биры раздвинул берега,
Но стянуты мостом они навечно.
Здесь покорила матушка-тайга
Энергии и силе человеческой.
Рождаясь в звоне топоров и пил
И поднимаясь из болот и марей,
Нас город крепкой дружбой наградил,
Будь русский ты,

еврей

или татарин.

Мы здесь живем

единою семьей,

Одной большой Страны Советов дети.

И солнце, что у нас над головой,

Всех равно греет,

и всем равно светит.



СЕРДЦЕ

Сердце поэта —

Открытая рана,

Оно чужою

болью болит.

Оно в

порезах

и шрамах рваных,

Оно огнем

негасимым горит.

В сердце

рождается

песня поэта —

Кровью горячей

омытый стих.

Если
от сердца
та песня спета,
Она на борьбу
поднимает других.
1980

◆

ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ

Пока сердце стучит твое,
Ты в ответе за все,
человек.

И за сад,
что дождем напоен,
И за речек
стремительный бег,
И за детский
звнящий смех,
И за птичий вешний
прилет.

Ты в ответе за тихий снег,
Что светло и чисто идет.
Жизнь дарована нам с тобой,
Чтоб в немирный,
тревожный век
Бытием своим,
всей судьбой
Доказать,
что ты — Человек!

1982

◆

ПЕСНЯ

А многое ли песня в мире может?
Она нам души трепетно тревожит,
Она сердца огнем нам зажигает
И в ярком этом пламени сгорает.
И в светлый день, и в горя черный час

Она всегда во всем поддержит нас.
Еще и тем нам песня дорога,
Что в бой вести умеет на врага.
Когда же люди запоют о мире —
Их горизонт становится все шире,
И день светлее, и весомей колос,
И новой силой полнится их голос.
И небо в белых стаях голубей
Становится светлей и голубей.
И жизнь предстанет всех чудес чудесней —
Так много в этом мире может песня!

1981



НОВОЕ

Еще строительный мусор лежит,
Но уже обозначена улица.
При взгляде на новые этажи
Прохожий довольно щурится.
Новосел тут сегодня живет
В ритме новых дневных забот.
К новой школе спешит детвора,
Всех прохожих опережая.
Пахнет булочная с утра
Хлебом нового урожая.
С новостроек в небо взлетев,
Новых песен звучит напев.
В новых скверах цветет сирень,
И на сердце светло и гордо.
Начинается новый день
Новой улицы
В нашем городе.

1983

ИСААК БРОНФМАН



Исаак Львович Бронфман (1913—1978) родился в местечке Хашеватое Винницкой области УССР. Закончил индустриальный техникум. С 1931 года постоянно жил и работал в Биробиджане. Участник Великой Отечественной войны.

Исаак Бронфман начал печататься в 1929 году. Его стихи на еврейском и русском языках публиковались в областных и краевых газетах, в журналах «Советиш геймланд» и «Дальний Восток», в антологии современной еврейской поэзии «Горизонты». Отдельными изданиями вышли поэтические сборники «По светлым дорогам», «Подснежник», «Доброе слово», «Моя анкета».

МАРИШКА

(чешский народный мотив)

Жалобно в лесу запели птицы.
Клены грустно шелестят листвою.
Нет в живых Маришки-озорницы,
Партизанки нашей дорогой.
Больше нет ее — русоголовой,
С водопадом вьющихся волос.
— Прочь, фашисты, не скажу ни слова, —
На губах разбитых запеклось.
— Признавайся, сколько душ в отряде?
За признание — десять тысяч крон.
Не берешь?
Ужель мала награда
За пустячный перечень имен?
Синь в глазах Маришки-озорницы
Потемнела. Не глаза — гроза:
— Ничего я не скажу вам, фрицы.
Всех богатств дороже мне друзья.
— Врешь, чертовка. Ты подарку рада.
Вот тебе не десять тысяч — сто.
За короткий списочек отряда
Станешь ты богатой, как никто.
— Нет! — Маришка гордо отвечала.
— Да! — убийца вскинул пистолет. —
Жить тебе осталось слишком мало.
Отвечай же!
Пожалеешь!
— Нет!..
Жалобно в лесу запели птицы.
Клены грустно-грустно шелестят.
Нет в живых Маришки-озорницы.
Партизанский действует отряд.

1968

В РОДНОМ СЕЛЕ

Я снова здесь, в родном селе,
Смотрю, как тянутся к земле
Созвездий дальних нити:
Ночной Амур колышет их,
И пляшет свет миров иных
В его воде, как в сите.
Водою талой луг набух,
И почки лопаются вслух
В саду у спящих окон.
А лес обнову ткет себе,
И первый, радуясь судьбе,
Зеленый вьется локон.
И этот луг, и этот бор,
Как восклицанья — пики гор
Хочу запечатлеть я.
Я только гость,
но все, что есть,
Со мной, во мне,
как будто здесь
Живу тысячелетья.

1962



УЛИЦА ШОЛОМ-АЛЕИХЕМА

...Мне дорог этот город.
Люблю гудков его
Рассветный говор,
И звон Биры,
И сумерки аллей —
Здесь я встречаюсь
С юностью моей.
И часто снятся мне
Костры и ливни,
Гул тракторов,
Звонкоголосье пил.
Легли проспектов
Солнечные линии
В местах,
Где зверь таежный воду пил.
Здесь все мое.

Я с улицею сросся
Душой навек.
Светлы ее дома,
Взметнулся город
Птицей-песней легкой,
И я шепчу
Шолом-Алейхема слова:
«Смеяться здорово,
Врачи велят смеяться!»
На площадях цветет сирень, акация.
Шолом алейхем —

это значит

Мир вам!
Что может быть дороже
Этих слов!
Мой город спит
Под небосводом мирным,
Укутанный таинственностью снов.
Шолом-Алейхем —
Звонкий мастер слова —
Любил людей.
И был любим он ими.
Сегодня мы встречаемся
С ним снова
На улице,
Носящей это имя.
Здесь поднялись дома
До неба синего,
Здесь встали корпуса
Заводов новых.
Живут здесь люди
Честные и сильные —
Строители
Невиданнейшей нови.
Когда рассвет
Крыло зари расправит
И приподнимет
Черный полог ночи,
Ему навстречу
Двери открывает
К станкам своим спешащий
Люд рабочий.
О, если б мог
Шолом-Алейхем видеть,

Как труд их светел,
Радостен и славен.
Он — вечно молодой
Смешливый витязь,
Великой

Песнью Песен
Их прославил.
Над городом —
Распахнутые дали...
Шолом алейхем, люди!
Мир вам, Люди!

1970



ВЕСЕННИЕ МОТИВЫ

Дорогая, охапку цветов
Принесла ты — и петъ
я готов.
Нашей юности дверь распахни,
Пусть войдет, как в те давние дни.

С нами пусть она в светлом лесу
С тонких веток сбивает росу,
Пьет дымящийся чай
у костра —
Вдохновенья и счастья
сестра.

Выйдем в город под зелень
ветвей,
Постоим над рекою моей.
Пусть рокочет, светла и быстра,
Как поток моей жизни —
Бира.

Что себе пожелать
в шестьдесят?
Пусть летят мои годы,
летят,
Но в кипенье твоём,
бытие,
Пусть не старится сердце
мое.

Ведь я песен своих не допел,
Я с родною землей не успел
Расплатиться стихами

сполна.

Здравствуй, юность,
и здравствуй, Весна!

1974



СЫГРАЙ МНЕ, НЕХАМЕЛЕ!

Несложного напева повторенье...
Я дочери соседа говорю:
— Играй! Тебе всегда я отворю
Скрипучие врата стихотворенья.

Нехамеле,
сыграй на скрипке снова!
Тебе я в стену
грозно не стучу.

Я по складам
мелодию учу,
Чтоб сочетались музыка и слово.

Без музыки бы души онемели,
Искусство омертвело бы тотчас.
Когда вбегает песенка, лучась, —
То праздник настает среди недели!

Нехамеле, нет лучшего в природе,
Чем эта дружба скрипки и смычка!
Я вижу: наполняется строка
Сиянием и трепетом мелодий...

1960

ХАИМ БЕЙДЕР



Хаим Волькович Бейдер родился в 1920 году в местечке Купель, на Украине. Закончил Одесский педагогический институт им. Ушинского. В начале семидесятых годов жил и работал в Биробиджане. Заслуженный работник культуры РСФСР.

Первое стихотворение Хаима Бейдера было опубликовано в 1933 году в еврейской пионерской газете «Будь готов». Печатался в газетах Украины, Туркмении, Дальнего Востока, в еженедельнике «Литературная Россия», в журналах «Огонек», «Советиш геймланд» и «Дальний Восток». В 1979 году издал поэтический сборник на еврейском языке «Новоселье».

Хаим Бейдер живет в Москве.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Тех первых, кому имена —
Старожилы,
Поднявших топор и наладивших пилы,
Чтоб гулом таежные дали наполнить, —
Ты должен их помнить!

Парней и девчонок Бердичева, Балты,
Чьих из дому смутных дорог не узнал ты,
И вряд ли по карте наметить сумеешь, —
Забыть их не смеешь!

По улицам утренним,
Паркам и скверам,
Возникшим как их воплощенная вера,
Иду под ветвями —
В потоке событий...
Как можно забыть их!

Тот — стал уже дедом,
Та — бабушкой стала,
Но подвиги их не стареют нисколько,
Их голос и смех слышу в гуле зеленом —
Нижайший поклон им!

Здесь новую жизнь
По лесам и болотам
Они своей кровью питали и потом.
Их —
Самых надежных, упорных,
Их — первых,
Ты помни,
Ты верь в них!

1972



ДОЖДЬ В БИРОБИДЖАНЕ

В Биробиджане дождь.
Биробиджан
Под ливнем.
Нет, не ливень — океан
Потоки гонит волн за валом вал.
Разверзли небеса могучий кран —
Ну кто такого разве не видал!
К утру, пожалуй, и не выйти —
Шквал
Гудящих вод, мерцающий туман.
Под ливнем вымок весь Биробиджан...

Бушует под дождем Биробиджан.
Не город — заливной шумящий луг!
И никому боязни вовсе нет,
Что под потоком рухнут стены вдруг,
Никто в испуге не вздымает рук,
Не ждет, что покачнется белый свет,
За дерзость покарав их пришлый клан...
Гудит, шумит в дожде Биробиджан!

Как под дождем промок Биробиджан!
В асфальте отражаясь, фонари
Сияют, как в затоне, в недрах вод —
Им, как всегда, гореть здесь до зари
На улицах.
Вот — Ленина,
А вот —
Шолом-Алейхема, Димитрова...

Идет
Автобус. И под ливня океан
Балконы — настезь.
Где-то бас поет
По радио.
А дождь все льет и льет...
Как под дождем красив Биробиджан!

1972



ПЕРВЫЙ ГЛОТОК

Рассветной, раннею порой
Он вышел на берег речной
И тихим взором лес обвел:
Он дошагал!
Достиг!
Добрел!

А за рекой, на берегу
Олень отпрянул на бегу.

Не бойся, трепетный олень!
Благословен твой ясный день,
Иди,
Пришельца не страшись:
Ведь он не смерть несет,
А жизнь!

Ушел олень
И всей тайге
Трубил о встрече на реке...
А человек горячим ртом
Припал за радостным глотком
К волне,
Пропахшей мглой, листвою,
Тайгой,
Свершившейся мечтой...

И этот первый свой глоток
Потом —
Всю жизнь —
Забыть не мог!

1974

САМУИЛ ГАЛКИН



Самуил Залманович Галкин (1897—1960) родился в городе Рогачеве, в Белоруссии. В 1936—1937 годах жил и работал в Биробиджане.

Впервые стихи Самуила Галкина были напечатаны в днепропетровской газете «Коммунист» в 1920 году. Первый поэтический сборник его вышел двумя годами позже. Сборники стихотворений «Боль и мужество», «Фронт», «Честное ленинское», «Контакт» и другие проникнуты романтикой социалистического созидания. Темы Отечественной войны и мирного послевоенного труда взволнованно звучат в лирических сборниках Самуила Галкина «Земные пути», «Дерево жизни».

Самуил Галкин перевел на еврейский язык произведения А. Пушкина, В. Шекспира, Г. Лонгфелло, В. Маяковского, А. Блока, С. Есенина, Д. Фурманова, Л. Леонова и других.

СТРАЖА ВЕРНА

По горам, между гор путь к Амуру бежит,
Конь устал, и телега скрипит, дребезжит.
Путь к Амуру далек, и вершина хребта
Пламенеет, закатным огнем залита.
Наверху еще день,
А внизу темнота.

На уступах горы спят селенья во мгле,
На уступах горы, припадая к земле,
Злобный ветер степной
Приуныл и прилег, —
По горам вверх и вниз, по ступеням дорог
Конь плетется едва. Путь к Амуру далек.

Из-за сопок крутых, холодна и бледна,
Озарив небосвод, выплывает луна.
А в Москве всходит солнце, дома золотя,
И свой бег грузовик замедляет, пыхтя, —
Через улицу перебегает дитя.

Там над Красною площадью вьется снежок,
Бьют на башне часы, розовеет восток,
Здесь становится с каждым мгновеньем темней,
И в безмолвии гор средь угрюмых камней
Мерный скрип колеса отдается сильней.

Здесь сражений былых не изгладился след.
С той поры миновало почти десять лет,
Как отсюда водил свой отряд боевой
По ущельям глухим партизан молодой.
В порыжелой траве не его ли кинжал
Под сияньем луны вдалеке засверкал?

На небе морозном мигают огни,
В нем тесно бесчисленным звездам, они
Слетают на землю стезей золотой,
Стрелую проносятся над головой.
Но вдруг — огонек, деревушка. Постой!

А там, над Москвою, багряный закат,
Весь город сиянием солнца объят,
На стенах Кремля рдяный отсвет горит.
И только, суровую тенью укрыт,
На площади стынет тяжелый гранит.

Михайло-Семеновск... Едва рассветет,
В селе остановится конь у ворот,
А дальше — селений уже не видать:
Белеет Амура широкая гладь,
За нею граница — рукою подать!

В деревню вступает измученный конь.
Здесь стойлом запахло, и тусклый огонь
Сквозь окна струится. Светлеет кругом.
Шагают солдаты, стуча каблуком, —
То новое утро встает над селом.

В Москве скоро полночь, двенадцатый час,
Но в окнах Кремля еще свет не погас,
А здесь, в полушубок тяжелый одет,
Стоит пограничник, он видит рассвет
И смотрит багряному солнцу вослед.

Вчера лишь, неся взгромоздившийся лед,
Амур задыхался всю ночь напролет,
Потом понемногу стихал он, и вот —
Он хмур и спокоен, и будто с высот
Осеннее небо упало на лед.

Стоит пограничник над самой рекой,
Светлеет за сопкой Маньчжурской крутой.
Он встал во весь рост и глядит, как зажжен,
За островом дальним горит небосклон...

Бойцы охраняют границу не зря —
На западе ночь, на востоке заря.

1945



ОКРЫЛЕННОЕ СЛОВО

Неведомый синим далеким просторам,
Отсюда, с земли, зачарованным взором
Слежу я за птицей стальной, устремленной

К лазури, —
во мне, как в реке, отраженной, —
И внемлю покою, смятению внемлю..
Давно это было...

Вдруг с неба на землю
Низринулась тень, два крыла
распластала,
Скользнула по мне, проплыла
и пропала.

Она мой покой увлекла
за собою
И сердце мое обрекла
непокою...

Я понял: отныне мое назначение —
Покою и счастьем дать обозначенье!
И чтобы найти его, должен я разом
На поиски выслать и сердце и разум.
Большую любовь если в сердце посеешь,
Добыть это слово ты сердцем сумеешь;
И разум твой будет с бесценной добычей,
Коль будет согласья искать, не различий..
И вот оно всплыло над нашей планетой
Грядущего нашего

явственной метой;
То слово — творение силы чудесной —
Читаю сегодня на тверди небесной!
В нем каждая буква светла и крылата
И неубывающей силой богата.

Мечта вековая народов,
не ты ль их
В лазурь подняла на серебряных крыльях,
Чтоб миру вещало просторов течение:
«Мир» —
вот оно, счастья обозначенье!

1946



В. ПАРКЕ

Я счастлив, как будто с тобой мы одни
Под зеленью яркой в прозрачной тени.
Не вижу веселой и пестрой толпы,

Снующей близ нашей укромной тропы.
Вот слышится говор под темной сосной,
А кажется мне — на планете иной.
Но чем я владею — тебе невдомек:
Биением сердца и музыкой строк.
Землею в полете, в кружении дней.
Твоею ладонью, зажатой в моей,
Попробуй, любимая, останови
Вращенье земли и безумье любви.

1946



НАЧАЛО ЗИМЫ

Зима явилась слишком рано,
И вот сквозь веток наготу
Я ветер слышу, — зло и рьяно
Он кружит листья на лету.
Я не видал, как пожелтели,
И спрашиваю: неужели
К нам сызнова пришла зима?
Пожухлость, хмурь куда девалась?..
Зима у нас обосновалась,
А как — не знает и сама...

И кто б на улицу ни вышел,
Покажется наверняка,
Что холод белым воздух вышил,
Запорошил его слегка.
Все внове, все бело, — похоже
И сам он побелел, прохожий,
И, окруженный белизной,
Ступает он, как бы впервые
Увидев хлопья снеговые,
Овеянные тишиной.

И все же привыкаешь к белой
Извечной невидали сей
И сердцем видишь помутнелый
Сквозь кольца вьюги Енисей,
И пояса студеной шири,
И горы у ворот Сибири,
И холодеющий Байкал,

И ранний синий лед Амура,
И дальше — дальше — север хмурый
До самых сумеречных скал...

А там на юге — солнце знойно,
На пальмах пыльная кора.
Перед отплытием беспокойно
Покачивается корабль.
И волны гулким полукругом
Идут на берег друг за другом.
И только Млечный Путь во тьме
Своим мерцающим и чистым
Сияньем снежно-серебристым
Напоминает о зиме...

Вот и стою — меж далей выюжных
И жарким шелестом ветров,
Меж солнцем побережий южных
И толщей заполярных льдов,
И слышу я сквозь снег и ветер:
Какой простор на белом свете,
Как стало все вокруг видней!
А человек и чист и молод,
Как этот снег, и ранний холод,
И свежесть первых зимних дней.

1947

ОЛЬГА ЕРМОЛАЕВА



Ольга Юрьевна Ермолаева родилась в 1947 году на Урале. С 1948 по 1970 год жила в Еврейской автономной области.

Первые ее стихи были опубликованы в газете «Биробиджанская звезда», печатались в журналах «Юность», «Сельская молодежь», «Новый мир», в альманахе «День поэзии». Автор книг «Подмастерье» и «Настасья».

Ольга Ермолаева—член Союза писателей СССР. Живет в Москве.

* * *

Мне страшно, что вольная стая
Подхватит меня на бегу,
И девочку не воспитаю,
И маму позвать не смогу.

Утратится связность и целость,
Крыла опадут за спиной,
И в легких одна драгоценность
Останется — воздух земной.

И в сфере небесной пространной
Во все остальные века
Бесформенной и безымянной
Я буду, как все облака.
Мне страшно, что в мире жестоком
Все вынеся, все претерпя,
Я вдруг пропаду ненароком
И не нагляжусь на тебя.

1976



* * *

Нет, я не хотела бы смирно сидеть,
Тем более — быть в учениках...
Я с детства горазда на солнце смотреть
Сквозь искры цветные в ресницах.

Зеленое небо люблю, и полынь,
И знаки «Нельзя!» и «Опасно!»,
И лес, и глаза всех зверей и
зверинь,
И дух рисовального масла.

Колючую, шумную, дикую кровь,
Купе, чердаки и каюты,
И облачный низкий лоскутный
покров,

Под коим душе так уютно,
И елку, и праздник Победы, и дни
Рожденья, и детское пенье,
И тех, кто не стоит любви, и огни,
И водных столбов преломленья...

Я знаю: добывшая столько чудес,
В пучину душа моя канет,
Как будто, пустясь в атлантический рейс,
На айсберг наткнется «Титаник».
На воздух, но воздух, пропахший

навек

Опилками, дымом и садом!..
Да здравствует, здравствует,
здравствует снег,
Где доченькин след отпечатан!

1976



* * *

Та девочка, что по полям
блуждала,
Букеты собирала в перелесках
И не боялась встретить в дальних
чащах

Ни зверя, ни дурного человека;
Та девочка, что в пасмурную пору,
Когда не разберешь, весна иль осень,
Бродила по загложшей колее
Средь траурных лесов и краснотала
И разбивала серое стекло
Над лункой черного лесного чая,
Настоянного на трухе древесной,
На ржавых листьях, на осоке

мертвой, —

Та девочка за счастье почитала
Езду ночную на товарняках.
...На страшных, на безлюдных
перегонах

Хлестал в лицо сырой болотный
воздух,
Вдруг на откосе черная казарма

Вставала на мгновение и опять —
Осинник, медленно гниющий

Большинный и смолистый выдох
в топях,
мари,

И запах шпал, пропитанных
мазутом,

И вечный привкус гари и железа.
И втягивали бабочек и мошек
Потоки воздуха, разъятые составом,
И редко-редко на речной долине
Мелькал огонь рыбацкого костра.
Там, вдалеке от грохота и бега,
Жил нежный бархат с пробчатой

корою,
И черные жемчужинки черемух
Все увеличивались. Хлюпали

коряги,
И слаще меда, молока и хлеба,
Изнемогая, пахли все покосы.
И скудно освещенный полустанок
В одну минуту мимо пробежал,
И за складами, между фонарями
Шел театрально выглядевший сад...
И холодало. Закопченный тамбур
Был весь в железе пахнувшей

росе,
И холодали жесткие косицы
Волос, хлеставших долго по щекам...
Та девочка считала, что бессмертной
Она пребудет, что по виду

счастье —
Как зарево над центром областным...

НИКОЛАЙ КАПУСТО



Николай Владимирович Капusto (1923—1980) родился в Белоруссии. С 1950 года жил и работал в селе Ленинское Еврейской автономной области и в городе Биробиджане.

Николай Капusto начал печататься в 1955 году. Он автор поэтического сборника «Весенний огонь».

ВЫ БЫЛИ В СТЕПИ?

Вы были в степи,
Там, где солнце в полнеба,
Где в дымке осенней
Застыли поля,
Где целое лето
Под тяжестью хлеба
Гудела, звенела
И пела земля?

А я проходил там
Тропинкой знакомой.
Она не похожа
На прежнюю, ту,
Что к самому полю,
От самого дома
Бежала в густом
Васильковом цвету.
Я шел по земле,
Где ни ветер, ни эхо,
Казалось, не сладят уже
С тишиной.
Но сердцу хотелось
И ливней, и смеха,
И грома моторов
В степи полевой.
А солнце горело.
И вдруг разглядел я
В лучах золотых
Молодую весну.
Она к нам вернется
Черемухой белой
И ливнем степным,
Молодым, ошалелым,
И громом моторов
На всю целину.

1969



* * *

Рыжими осенними горбами
Улеглись холмы невдалеке.
Говорят, за этими холмами
Было царство древнее Мохе.
Может быть. А нынче все здесь ново.
Даже ночь. И даже ветра звон
В проводах у стана полевого,
Что перечеркнули небосклон.
Даже свет кочующих созвездий
Небывалым кажется не зря.
Только месяц, вылитый из меди,
Словно щит мохесского царя.
Но когда поднимется пшеница
В полный рост
на поле молодом,
Древний месяц тоже загорится
С поля долетающим огнем.

1965



* * *

Вот опять в лучах рассвета,
На виду у всей Земли
Встали тучи, или это
В океане корабли?

Корабли под парусами,
На волнах на голубых
Зацепились якорями
За вершины гор земных.

Где ж вы, где вы, капитаны?
Вас давно зовет заря.
Подымайте, капитаны,
Золотые якоря!

1964



* * *

Оно одно, мое желанье:
Хочу самым собою быть,
Чтоб чье-то строгое вниманье
Не обмануть,
Не охладить.
Чтобы друзей не разуверить,
Не обнадежить не друзей,
Чтоб людям верить,
Солнцу верить
И верить совести своей.
Чтоб в каждой строчке,
В каждой теме
Искать иных земных высот —
Быть наравне со всеми теми,
Кто сеет хлеб,
Кто сталь кует.

1965



* * *

Вот опять передо мною
Луговая сторона.
Речка с синею каймою
Да зеленая волна
Тихим ветром взметена.
И несет волна куда-то
На хребте своем покатом
Пену яркую, цветочную —
Красоту дальневосточную.
А из глуби светло-синей
Льется солнце знойным ливнем
На валки, что утром скошены
И росой запорошены.
И по всей степи зеленой —
Желтобокые стога,
Словно полные бидоны
Золотого молока.
И наступит вечер тихий,
И запахнет степь гречихой,
Молодым пшеничным хлебом,

Ранним сеном, звездным небом.
Будет петь о чем-то близком
До утра в степи гармонь.
Будет звездно сыпать искры
В небо лунное огонь.

1964



* * *

Блещут молнии ятаганами
Так, что небу ночному жарко.
Будто кто-то над Малым Хинганом
Занимается электросваркой.
Голубое свечение вспышек
До зари, до утра не меркло.
Приварили к Хингану крышу
Из высокого синего зеркала.

1966



* * *

Дуб, дожидаясь ветра шалого,
Вершиной в небо упирается.
Он здесь стоит сто лет без малого,
Движеньем туч распоряжается.

И простоит еще столетие,
В душе зеленой чуть досадуя,
Что люди службы не заметили
И не отметили наградою.

1966



* * *

Чтоб над полем и над кручей
Ветру петь,
Чтобы бурю неминучую
Одолеть,

Чтоб лилось бы во Вселенную
Солнце вновь,
Люди, будьте откровенными,
Как любви!

1967



* * *

Это не придумаешь нарочно,
Но заметь: по облакам глухим
Перелетных птиц живыми строчками
Пишет осень звонкие стихи.
И сегодня ты, конечно, слышала,
Как над сединой амурских вод
Пролетел табун четверостишием,
Что в поэму вечности войдет.

1967



* * *

Получив предписание срочное
Подготовить к зиме планету,
Как районный уполномоченный,
Ходит ветер по белу свету.

И на релках степных раздувая
Горьковатый пожар березовый,
Лету памятник сооружает
Из летящей по ветру бронзы.

1972

АНАТОЛИЙ КОБЕНКОВ



Анатолий Иванович Кобенков родился в 1947 году в городе Биробиджане. Закончил Литературный институт имени М. Горького.

Первые стихи Анатолия Кобенкова были напечатаны в газете «Биробиджанская звезда». Он автор поэтических сборников «Весна», «Улицы», «Вечера», «Два года» и других. За книгу стихов «Я однажды лежал на зеленой траве» он удостоен премии Иркутского комсомола им. Иосифа Уткина.

Анатолий Кобенков — член Союза писателей СССР. Живет в Ангарске.

МАМА ПОЕТ

Ночь, полустанок, двенадцатый час,
мама...

И я не умею иначе —
плачу сейчас,
потому что сейчас
мама поет.

Оттого я и плачу.
Мама поет — предъявляется счет
всем моим бедам,

и некуда деться,
и непонятно, когда мне еще
так нареветься

и так отогреться.
Я бы, наверно, и плакать не стал,
если бы рядышком не было леса...
Мама поет, значит, я уже стар,
отбедокурил, откуролесил,
школу закончил и грудь прокурил,
думал во тьме и смеялся при свете...
Все получил,

даже ту, что любил,
не потерял,
а другую не встретил...

Так я и жил,
только годы менял,
да города, да столы и тетрадки...
Мама поет,

значит, все у меня
в полном порядке.

Такие порядки!
Надо бы книжку об этом писать.
Мама запела —

куда еще лучше!
Слезы утрем
и достанем тетрадь —
мама поет.

Приходите послушать.

1979



100

и кушать цимес, и на теплый локоть
старушек-жен

затылок положить,
и говорить им ласково о прошлом,
о ценах на продукты, на картошку,
и думать, сколько нам осталось жить,
и засыпать...

О Еселе, послушай!..

И Еселе кивает и идет,
покачиваясь медленно и мерно,
и новости читает в старом сквере,
и желтой спичкой долго чистит уши...
Вот улица моя.

Уж целый век
она встречает женщину утрами.
А женщина с усталыми глазами,
а женщина — хороший человек.

И кажется,
что я ее любил
давным-давно...
Она ведь так близка мне:
мы вместе с ней топтали эти камни,
мы вместе с ней поведем любым
смешную сказку нашей старой булочной
и песенки, что пели мостовые,
ведь только мы одни не позабыли,
что век живем на этой тихой улочке...

1964



* * *

Как это ни печально,
но писать
меня учили вовсе не поэты,
а скромные читатели газеты,
тираж которой стыдно называть.

Соседка говорила:
— Напиши,
как дворник Бондарь прошлым воскресеньем

мел полквартала в тяжком опьяненье,
но так пиши,

чтоб было от души.
И я писал о Бондаре с душой —
как этого соседка захотела,

я возмущался:

«Не закончив дела,
он в магазин за водкою пошел!»
Соседка говорила:
— Молодец!
— и выдавала прошлогодний пряник.
А дядя Ваня требовал:
— О бане!
Пиши о бане —
банщик там подлец.

...Я каждому готов был угодить:
проводникам, носильщикам вокзала...
Мое перо старушке помогало
без очереди булочку купить!
В своей

петитом набранной строке
я слышал треск и грома тарахтенье;
я в марте напугал учреждение,
единственное в нашем городке.
А март был пьян.
Наглядно таял снег,
и никому в скворечнях не сиделось,
и почему-то очень захотелось
писать стихи —

о лужах и весне.

И там,

в стихах,

все было хорошо:
пел огород, и трезвый как огурчик
товарищ Бондарь подметал окурки
и в магазин за лимонадом шел,
пенсиянер сосульку клал в карман —
ему с избытком пенсии хватало,
а бабушка от счастья хохотала
и распевала арию Кармен...

Стихи не напечатали,
но я
всем объявил, что ухожу в поэты...
И лучшие читатели газеты
с печалью посмотрели на меня...

1979



ЛИРИЧЕСКИЙ МОНОЛОГ

Своим друзьям с иронией печальной,
за ужином,

я описал, как мог,
быт городка,
весьма провинциальный,
с его тоской, распутицей дорог,
с растрепанными соснами и снегом
и нецензурным словом на скамье
в полуостывшем скверике,

а следом
я рассказал с улыбкой о семье,
где угощают весело и жарко,
где мало пить и мало есть нельзя,
где грустного писателя Ремарка
считают дамой...

Добрые друзья
оплакали меня

и очень быстро —
не выпал снег, не умерла трава —
вручили мне столичную прописку,
и я сказал:
— Подружился, Москва!..

Былым воспоминанием согреюсь,
свои обиды на год отложив...
любимый мною Александр Сергенч
в столицах не советовал мне жить.
И ты, Москва, лови меня на слове —
все, что любил, и все, чем дорожил,
не ты, Москва,

а городок сосновый
со мною бескорыстно разделил.

Здесь все мое:

листок, прилипший к ставне,
ночного крана тонкая стрела...

Мне полюбился быт провинциальный
с оглядкой на столичные дела.

Люблю провинциальное семейство,
где гам и смех,

и слезы, и грызня,
где хочешь — плачь,

а если хочешь — смейся,
где мало есть и мало пить —

нельзя,
где говорят о варках и припарках
и отпуска —

в Москву —

как манны ждут...

Где грустного писателя Ремарка
в одной семье

Мариею зовут...

1979

АРОН КУШНИРОВ



Арон Давидович Кушников (Кушникович) родился в 1890 году в селе Боярка на Украине. В детстве потеряв отца, он очень рано начал нелегкую трудовую жизнь.

Рядовой Третьего сибирского стрелкового полка Арон Кушников — участник первой мировой войны, красноармеец Кушников воевал в гражданскую и Великую Отечественную войны. Арон Кушников одним из первых приехал осваивать биробиджанскую землю.

Не велико литературное наследие поэта. (Он умер в 1949 году.) Но и то, что им создано — циклы стихов «Стены», «Брожение», «Дальний Восток», «Отец командир» и другие — характеризуют Кушникова как тонкого поэта-лирика.

ЛЕСНОЙ ДОМ

Весною мы пришли сюда вдесятером,
Над нами темный лес раскинулся шатром.
Казалось, этот путь неслыханно далек.
Сквозь топи, сквозь тайгу он без дорог пролег.

И в чаще, посреди зеленой полутьмы,
Ни слова не сказав, переглянулись мы.
Безлюдье, гнус, тайга... Живя в такой глуши,
На сотни верст вокруг не встретишь ни души.

Но все же хороши таежные места!
В их дикости своя таится красота.
И зеленью сквозной ласкал и тешил взор
Тот первозданный мир в кольце воздушных гор.

Промытой синевой светился небосвод.
И землю обновить успел весны приход.
Крутые сопки ввысь тянулись все сильнее,
Купаясь в синеве и отражаясь в ней.

В молчанье древний лес над нами сень простер,
И был понятен трав дремучих разговор.
Займствуя напор у здешних бурных рек,
А песни — у тайги, стал сильным человек.

Сказал один из нас: «Дремучий лес мне мил!
Я этот край, друзья, навеки полюбил.
Он синевой повит и залит солнцем весь,
А человека так недоставало здесь!»

Товарищу в ответ сказал другой из нас:
«Должны мы дом в тайге поставить
в добрый час!»

И порешили мы: здесь будет Дом лесной.
Покуда только лес тут высился стеной.

Впервые запылал во тьме ночной костер.
Впервые застучал в лесной глуши топор.

К рассвету затрещал и рухнул первый ствол,
И небывалый гул по всей тайге пошел.

И, новизной дыша и молодой сосной,
В ту пору первый дом возник в тиши лесной.
Курился первый дым над первым очагом.
Все было так свежо и зелено кругом.

Сочились молоком побеги тучных трав,
Летела к нам пчела, душистый мед собрав.
В немой, дремотный мир мы распахнули дверь,
И вот в лесной тиши стоит наш дом теперь.

Сквозь топи и тайгу прошли мы напролом.
Нас горсточка была — мы выросли числом.
Явились мы сюда в благословенный час.
Здесь — милый сердцу край, здесь дом родной
для нас.

1937



О КАМНЯХ, КОТОРЫЕ ЛЕГЛИ В ФУНДАМЕНТ

На новостройку камни привезли.
Им уготован был почетный жребий:
Они в фундамент намертво легли,
Чтоб здание тянулось к солнцу в небе.

Затем всю тяжесть стен, весь груз колонн
Они взвалили на себя бесстрашно,
И здание прекрасное, как сон,
Взметнулось ввысь, увенчанное башней.

О человек! Когда поднимешь ты
Над башнею торжественное знамя,
Перед простыми преклонись камнями —
Могучим основаньем красоты.

1937

ПЕРЕЦ МАРКИШ



Пере́ц Давидович Маркиш (1895—1952) родился в селе Полонное на Волыни, ныне Ровенская область Украины. Работать начал очень рано, с восьми лет. Занимался самообразованием, учился в народном университете. Печататься начал в 1917 году.

Литературная деятельность Пере́ца Маркиша длилась свыше тридцати лет. Он автор многих книг. В его поэмах «Братья», «Не унывать», «Чертополох», «Заря над Днепром», во многих стихах отражены наиболее значительные события советской действительности, коренной перелом в жизни еврейского народа.

Пере́ц Маркиш — автор романов «Из века в век», «Один на один», «Поступь поколений», а также пьес «Земля», «Семья Овадис», «Восстание в гетто».

Первостроителям Еврейской автономной области посвящен цикл стихов «Дальневосточное».

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ

1

И день и ночь в раздумье оснеженном
Все ждет тайга, когда броней экспресс
Загромыхает гулко по уклонам,
Багровый дым держа наперевес.

И, прижимаясь к небесам морозным,
Тоскуют дни и ночи напролет
По сменам зорь, по циферблатам звездным
Громады гор, закованные в лед.

И тишина прозрачная такая,
Что слышно за версту хрустение сучков,
Когда, подстреленный, в чащобу, спотыкаясь,
Уходит зверь унять струящуюся кровь.

Но к иступленному составу вихрем рвется
В тоске, вскормленной сопками, тайга,
Когда стальным он горлом разревется
И дым прощальный бросит на снега.

Она манит красой пестрополосой,
Камку и бархат мечет под колеса
И вьюгами гудит среди пустырей:
«Экспрессы, возвращайтесь поскорей,
Чтоб вызволить меня из дремы хмурой
И первозданность соскresti с меня».

Расперты мощью берега Амура,
Он продвигается упорней день от дня
К золотокованым подножиям Хингана.
«Не мешкайте в путях,
Ждут горы-великаны.
Густейший мед — в набухнувших грудях,
Звончайшим золотом расперты жилы.
Есть у меня родник:
Кто, сумрачный и хилый,
К нему хоть раз приник,

Тому чудесное дарует исцеленье, —
Ужели только страждущих оленей
Целить ему назначено вовек?»

2

К трясине облако нисходит золотое
И окунается в зеленые настои;
Туманы ржавые кочуют вдоль озер,
Толчется мошкара над буйною осокой.
Но солнце в небесах вздымается высоко,
Стеклом расплавленным струится кругозор.

Кружитесь, ветры!
Солнце, полыхай!
Дыханьем жги, мороз, морщинистые лица,
Вливай нам силу в грудь, пылающий мороз!
Идет к тебе, тайга, народ омолодиться,
Идет разворошить тебя из края в край,
Исполненный надежд и рвенья;
Он тоже внял движенью звезд,
Божественной премудрости оленей:
С высоко поднятою головой
Идет к тебе, тайга, громадой боевой, —
Не по глухим тропам
В неведомые дали
Бредет, тая печаль и страх, —
Но в пламенных,
Но в бурных поездах
Он по сибирской мчится магистрали.

3

Здесь в голову мороз кидается, как брага,
Вливает в жилы крепость и отвагу,
На сотни миль простерты снега
Здесь наготой сияют человечьей.
Так радостно ступает здесь нога.
И дерево древнейшее на плечи
Здесь хочется взвалить и понести в простор,
И встать могучей сопкой у границы,
И недругу бросать в упор:
«Взгляни на кряж, что в даялах громоздится,
Он в тучи врос гранитной головой,

Из края в край раскинулся, могучий.
Ты видишь ли его издалека?
Он еще выше встанет, грозовой,
Взойдет еще неодолимай,
Когда врага протянется рука
Хоть к малому клочку земли родимой».

1936

ВАСИЛИЙ МОРОЗОВ



Василий Никитич Морозов родился в 1924 году в селе Папсцевка Почепского района Брянской области. На Дальнем Востоке — с 1940 года

Василий Морозов — участник Великой Отечественной войны, в составе Краснознаменного Тихоокеанского флота освобождал Корею. Имеет боевые и трудовые награды.

Стихи для детей Василия Морозова печатались в журналах «Мурзилка», «Веселые картинки», «Костер», «Искорка», «Дальний Восток», в коллективном сборнике «На берегах Биры и Биджана», изданы отдельной книгой «Алешина горошина».

Живет в поселке Хинганск Еврейской автономной области.

КЛЮЧ «БЕРЕЗОВЫЙ»

Между сопок вьется ключ,
Голосок его певуч,
А березы белолицы
Подошли воды напиться.
Стали слушать сообща
Песни горного ключа.
Не уйти красавицам —
Песни очень нравятся.
Здесь геологи прошли,
Оловянный клад нашли.
Под березой ночевали —
Ключ «Березовым» назвали.

1966



РУЧЕЙ

— Ручей, ты чей?
— Еще ничей.
— Откуда родом?
— Из ключей.
— Куда бежишь?
— Где синь-река,
Чтоб с нею
Слиться на века.
— Зачем? —
Допытывался лес.
— Вращать турбины
Новой ГЭС.

1966



ЗНАЮ Я ЛЕСНЫЕ ТРОПКИ

Знаю я лесные тропки,
Сколько их — не сосчитать.
Вот тропа к вершине сопки
Вьется змейкой — чуть видать.

Тропка к ягоде бруснике,
Тропка к сладкой землянике,
Тропка к рыбной речке Хор,
Две тропы в сосновый бор.
Там вчера с соседом Федей
Повстречались мы с медведем.
Знаем мы лесные тропки:
К землянике,
К речке,
К сопке...
Только вот о чем наш спор:
По какой тропинке с Федей
Мы бежали от медведя —
Не припомним до сих пор.

1968

◆

АИСТ

Вдоль болота
Бережком
Ходит аист
С рюкзаком.
Мы спросили:
— Эй, чудака!
Для чего тебе
Рюкзак?
— Улетаю
Я от вас.
Сто лягушек
Взял в запас.

1967

◆

ЗЕМЛЯНИКА

Весь увал большой — гляди-ка,
Заселила земляника.
Я по ягоде хожу,
Но ее не нахожу.
Брат сказал мне:
— Не ленись!

На колени становись,
Земляника, — хочешь знать, —
Любит в прятки поиграть.
На коленях я хожу,
Землянику нахожу.
Сладкую, душистую,
Крупную, мясистую.
В туесок кладу и в рот...
Туес пуст — набит живот.

1970



КРАСНЫЙ ГРАД

Заявил нам дед Кондрат:
— За горою выпал град.
Завалил он все долины,
Склоны сопок и низины.
Град на солнышке лежал —
Покраснел и сладким стал.
В октябре его теперь
Ест и птица, ест и зверь.
Мы за дедом в лес пошли,
Красный град в траве нашли.
Улыбнулся дед Кондрат:
— До чего же вкусен град!
Догадалась Вероника:
— Это ж ягода брусника!

1970

В СЕЛЕ

Окошко покрыто корой ледяною,
Стучусь... Открывается дверь предо мною.

Едва лишь успел я сказать: «Добрый вечер»,
Как тотчас захныкал чудной человек:

— Здесь царство лесное, здесь нас не тревожат,
Но что же еврей заработать здесь может?

Соскреб он с окна ледяные узоры,
Увидел я даль и горбатые горы.

Сказать бы ему: не тайга виновата,
Не страшно, что синие горы горбаты...

Но не отвечаю ему ничего,
Лишь дверь открываю, а там волшебство:

Деревья, сугробы и горы вдали,
Простор белоснежной лесистой земли.

Серебряным диском сверкает луна,
Река подо льдом, синева, тишина.

Не небо старо, не тайге нет конца, —
Есть в мире поросшие лесом сердца.

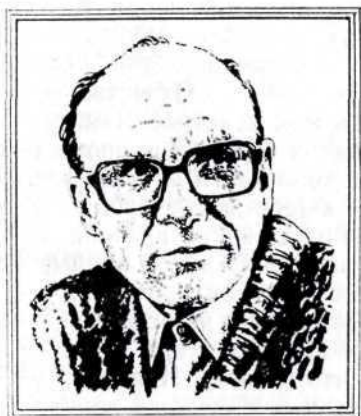
В них кочки, колдобины. Вот где тайга!
В тайге-то весною растают снега...

Да, трудно прокладывать в дебрях пути
И первому с заступом в поле прийти,

Но вдвое трудней, чем леса корчевать,
Неужные корни из душ вырывать

И чистить замшелые недра души...
Ты слышишь, как снег запекает в тиши?

ВИКТОР СОЛОМАТОВ



Виктор Иванович Соломатов родился в 1937 году в Хабаровске. Журналист. Участник Читинского зонального семинара молодых писателей Восточной Сибири и Дальнего Востока. Печатался в краевых и областных газетах, в журналах «Дальний Восток», «Советский воин», «Сельская молодежь», «Смена», «Прапор» и в еженедельнике «Литературная Россия», в коллективных сборниках «Разбег», «Весенних ручьев голоса», «Волшебное дерево», «Зерна», в поэтических кассетах «Радуга». Автор книги стихов «Кочевье». Много работает в жанре перевода. Живет в Биробиджане.

ОТЧЕСТВО

Отчизна,
Отечество,
Отечество —
Любовь моя неистребимая.
Кукушечьи в рощах пророчества,
Над степью круги ястребиные.
Живет в тебе запах пшеницы,
Кедровника вязкий настой.
И поклики вспугнутой птицы,
И голос жалейки простой...
И я вспоминать не устану,
Доколе пребуду я тут,
Отца, что назвали Иваном,
И мать, что Надеждой зовут.
И вовсе мне некуда деться
От светлой, щемящей любви
К земле, где прошло мое детство
И юные годы мои.
Взрослели мы трудно и рано,
Но, думаю я, неспроста
Нет в нашей породе Иванов
Из тех,
что не помнят родства.
Прижать тебя к сердцу мне хочется,
Стремящую к звездам
свой бег...

Отчизна,
Отечество,
Отечество,

Вы раз мне даны
И навек.

1982



* * *

Крутые подмывая берега,
Течет река размеренно и сонно,
Глядит ей вслед иманская тайга

Нездешними глазами Левинсона.
Тишь-тишина. А много лет назад
Бой грохотал тут. В полымя атаки
Повел он поредевший свой отряд,
В лихой прорыв в долину Тудо-Ваки.
Я котелок возьму.

К ручью шагну,
Что среди мхов
упругой змейкой вьется,
И неба в алюминий зачерпну
Из этого бездонного колодца.
Сложу костер. Сварю густой настой,
Лимонником парящий
и смородой.

В деталях вспомню подвиг их простой
Во имя революции народной.
Их 19 вышло из огня.
Всего лишь 19 сабель острых...
Глядит тайга густая на меня,
И на душе моей совсем не просто.
О память сердца! Будь всегда строга.
Здесь, в царстве света, хвои и озона,
Пусть прямо в душу глянет мне тайга
Нездешними глазами Левинсона.

1979



* * *

Уже проседает
на речке
изглоданный
солнышком лед.
Как в детстве,
я лажу скворечник,
и радостно
сердце поет.
И стружка
отчаянно вьется,
как в небо
стремящийся дым.
И пусть тут
счастливо живется

пришельцам
заморским моим.
Они уж спешат,
новоселы.
На ветке
присвистнул гонец —
чернявый,
картавый,
веселый.
Весь — звонкая песня — скворец.

1983



МОЯ ЗЕМЛЯ

Земля моя —
Сурова и нежна.
Строга, как мать,
И так же справедлива.
Как на духу признаюсь,
Что она
Дала мне все,
Чтоб быть вполне счастливым.

Дала уменье
Верным слову быть.
И круг друзей дала
Нерасторжимый.
И научила отчий край
Любить
И дорожить
Единственной любимой.

Петь в радости,
В беде не вешать нос
И к сердцу принимать
Невзгоды друга.
Не отвечать
Вопросом на вопрос,
Не раскисать,
Когда придется туго.

1982

ИЦИК ФЕФЕР



Ицик Фефер (Исаак Соломонович Фефер, 1900—1952) родился в местечке Шпола Черкасской области, УССР. В 1919 году добровольно ушел в Красную Армию. Вскоре вступил в ряды Коммунистической партии. В том же 1919 году начал печататься.

Гражданская война нашла отражение в циклах стихов Ицика Фефера «Шепка», «О себе и о таких, как я», а также в его поэмах «Иосл Шиндер», «Ребята», «Смерть Ильи». Тема строительства в нашей стране воплощена в его поэмах «Камень к камню», «Пласты», «Большие границы». Ицик Фефер — автор пьес «Трубочист» и «Солнце не заходит».

Прожив 1937 год в Биробиджане, Ицик Фефер создал цикл стихов «На Дальнем Востоке».

СВАДЬБА

Удалась нам свадьба над Бирой-рекой —
Мир не видел свадьбы радостной такой!
Слажено на славу было торжество:
Семеро портных засело за шитво,
Семеро стряпух усердно для гостей
Щук фаршировало, жарило гусей.

Мчит родня на свадьбу гулким большаком,
Скачут на конях и тянутся пешком.
Мчат автомобили в пыльных облаках
Дедов бородатых, девушек в платках...

Тут как тут потешник: не язык, а меч!
Бойкую, шутливую он заводит речь:
— Плачь, моя невеста, горько-горько плачь:
Есть тебе рыбешку с хреном да калач!
Народить тебе здоровеньких ребят.
Мать — это большое дело, говорят!
Где ж твое приданое, где, моя краса?
Розовые щеки, вишенки-глаза,
И до самой талии толстых две косы,
Нежный поцелуй в рассветные часы.
Что тебе в подарок преподнес жених,
Велико ль богатство у его родных?
Он и сам — богатство: строен да пригож,
Лучшего ударника в крае не найдешь! —
Так играй, капелла! Начинайте пляс!..
Не скрипка ветхая и не контрабас —
Три трубы, три дудки, флейта и баян
Заиграли шер ца весь Биробиджан.
И гудит, гремит полуночная ширь,
От веселой пляски пробудился мир:
В реках и озерах — тяжкая волна,
В сумрачных чащобах — елка и сосна,
Рыбы — в темных водах, звери — по лесам,
Птицы на ветвях, воздетых к небесам...
Ну и шло веселье над Бирой-рекой —
Мир не видел свадьбы радостной такой!

В ряд столы у сопки, скамьи без конца,
На столах бутылки доброго винца.
А в углу острит потешник и певец:
— Ну и свадьбу сладил Берел! Молодец!..
Под твоим комбайном вся звенит земля!
Золотой пшеницей кроются поля...
Прославляют в песнях милую твою,
Лучшей ты ударницы не найдешь в краю!
Выпьем в честь невесты чарочку вина —
Свадебку без свахи сладила она. —
Длится в лунном свете развеселый пляс.
Свадьба — это свадьба, а вино — не квас!..

Громче, трубы! Громче, флейта и баян!
Пусть еще пышней цветет Биробиджан!
Пусть в полях пшеница выше гор встает!
Пусть в садах отборный созревает плод!
Пусть дают овечки доброе руно!
Пусть в долинах будет жеребят полно!
Пусть плодится рыба в реках и прудах!
Пусть стоят стеной бойцы на рубежах!..
Ели мы картошку в прошлые года,
Но от горя прошлого нету и следа!

Громче, трубы, громче, флейта и баян!
Заиграйте туш на весь Биробиджан!
Барабан, гуди! Наигрывай, дуда!
Пусть запомнят гости свадьбу навсегда!
Пусть чрез много лет, с детьми усевшись в круг,
Вдруг шепнет старушке на ухо супруг:
— Удалась нам свадьба, друг мой дорогой, —
Мир не видел свадьбы радостной такой!

НАУМ ФРИДМАН



Наум Моисеевич Фридман (1907—1976) родился в деревне Ломуш Хойницкого района Белорусской ССР. В 1928 году первым эшелоном прибыл на станцию Тихонькая. После окончания Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина снова вернулся в Биробиджан, жил и работал в области до последних дней. Участник Великой Отечественной войны.

Наум Фридман печатался в областных газетах, в альманахах «Форпост», «Биробиджан», в журнале «Советиш геймланд». Им написан целый ряд очерков, критических статей, стихотворений.

СТАРЫЕ ИМЕНА

У девчонок, мальчишек бывает пора:
каждую минуту — новая игра.
Идут из школы, болтают наперебой —
народ юмористов, да еще какой!
Все непоседы, как на подбор.
Вдруг об именах заводят разговор:
— Есть у меня прабабка
по имени Агапка.
— А у меня старикан,
его зовут Африкан!
Галдят, хохочут будущие пионеры,
тащат, как из портфеля, примеры:
у одного был дед Пантелей,
у другого дед — Савватей.
А один смешной и ушастый пострел
такое в паспорте подсмотрел —
у деда не имя — настоящий компот:
Мойша-Шлема Раппопорт!
У внука такая фамилия тоже,
но дети смеются:
— На что это похоже?
Фамилия красивая, хорошая, важная,
но почему у бабушки
имя двухэтажное?
— А моя бабка — хоть со смеху помирай! —
Либа-Зися Курай!
Не веришь? —
Приходи и смотри.
А вообще-то их у меня три...
— Ого, три бабки! А третья откуда?
— А твое какое дело? Может, от верблюда...
Смеется весело, галдит детвора,
каждую минуту — новая игра.
Придумали сложение и вычитание:
Гриша-Миша, Таня-Маня.
Как цветные шары, имена летают.
Дети смеются, складывают, вычитают.

...Ничего лучше не придумано на свете,
чем звонкий ручей и смеющиеся дети.

Пусть детская радость звенит ручьем,
но сказать им хочется вот о чем:
играйте, шалите хоть двести лет,
на этот счет к вам претензий нет,
но знайте:
молодость уважать должна
эти «странные» старые имена.
Знайте,
что люди с этими именами
мечтали хоть на секунду встретиться с вами,
недосыпали, недоедали,
чтоб вы сегодня горя не знали,
чтоб в играх ваших не было слова «Война»...
Прошу вас,
не забывайте старые имена.

1976

ИЗИ ХАРИК



Изи Харик (Исаак Давидович Харик, 1898—1937) родился в местечке Зембин в Белоруссии. В 1919 году добровольцем ушел в Красную Армию. После гражданской войны учился в Высшем литературно-художественном институте имени В. Я. Брюсова. Печататься начал в 1920 году. Первый сборник стихов «Трепет» вышел в 1922 году под псевдонимом Н. З. Зембин.

В лучших поэмах и лирических циклах Изи Харика с большой художественной силой воплощены темы гражданской войны, культурной революции в стране, перестройка быта в еврейских местечках, освоение дальневосточной земли, строительство Еврейской автономной области. В поэмах «Минские болота», «Хлеб», «Круглые недели», «Ночь в Биробиджане», написанной им в 1934 году в Биробиджане, присутствуют мотивы народных еврейских и белорусских песен.

НОЧЬ В БИРОБИДЖАНЕ

1

Дальнего Востока зелен оком.
Почему — не знаю, но грущу по нем.

Вереницей длинной — высоки, светлы —
Мимо проплывают снежные валы.

Слышу я, зажмурясь: вдоль глухих дорог
Поступью медвежьей движется восток,

Щупает позднями снеговой простор, —
Раскрываю взор — медведь, да это вздор.

Будь, медведь, медведем — и ничем иным...
Над Востоком Дальним золотится дым.

Вереницей длинной — высоки, светлы,
Цепью проплывают снежные валы.

2

В крае чащ зеленых, голубых высот
Солнце молодое людям свет дает.

Солнце веет в лица терпкой синевой,
И земля пропахла далью заревой.

И тоской великой напоен простор...
В сотнях миль — хибарку повстречает взор.

В сотнях миль — пустынный залегает снег,
И один там, в снежном море, человек...

Распахнулись дали, далям нет конца.
Сыплется с небес морозная пыльца.

Ветры, налетая, жгут сухим огнем.
Небеса в молчании, огромном и глухом.

Ночь. Путиами звезд исчерчен небосвод.
Песня в зачарованной тишине плывет.

Небеса в спокойной зелени огней.
Нынче совещанье кончилось поздней...

Светлая усталость. Но еще не сплю...
Голову склоняю к жесткому окну.

Комната остыла... Легкий холодок...
За стеклом, гудя, вздымается восток...

Что за думам нынче возникать дано
Здесь, в Биробиджане, в этакую ночь?

Многим думам нынче возникать дано —
Чутко прикорнула тишина у ног...

Небеса сползают, и в морозной мгле
Озираю край, лежащий на столе.

Режь и перекраивай... Будь упрям, суров...
(Жило-было некогда местечко Рогачев,
Где отец седой выкраивал и шил...)
Распростерся край, исполнен дивных сил...

Режь и перекраивай, разбуди от сна,
Да взойдет в нем жизнь, просторна и ясна!

Козочки-местечки средь равнин-болот...
На Востоке Дальнем дом родной встает.

Тишина великая нисходит на меня,
Голову мою кудрявую клоня.

Эх, товарищ дальний, брат мой Михаил,
Звон твоих цепей в тиши я уловил.

Как глухими трактами плелся ты в централ,
Ветры голосили, снег в лицо хлестал,

Ветры с ног сшибали вас, одевали в лед,
Арестанты серые, каторжный народ.

Пусть на хлеб и воду, в отдаленный край —
Мы с тобой сочтемся, император Николай...

Эх, товарищ дальний, брат мой Михаил,
Звон цепей твоих в тиши я уловил...

Среди тысяч сопок виден мне твой след!
На Востоке Дальнем — триумфальный свет.

6

Ночь. Путиами звезд исчерчен небосвод.
Песня по просторам стелется — плывет.

Я к земле прикладываю ухо, — и слышна
Сокровенных недр густая тишина.

В недрах сокровенных тишина горда,
Как мое томленье, рвется ввысь руда.

Уголь, медь и золото — а ветры так и жгут, —
Распластались недра, притаились — ждут.

7

Перламутром синим светит ночью край,
Перламутром красным светятся утра.

Спозаранку слышно, как гремят в тайге
Взрывы динамитные вблизи и вдалеке.

Там тоску срубают, как старинный бор,
Там звенит-гудит уверенный топор.

Там встают мосты над колыханьем вод...
Не евреи сгорбленные в зелени бород, —

Плечи мускулистые, мощью налиты,
Социализм стремят до высочайшей высоты.

ЛЕОНИД ШКОЛЬНИК



Леонид Борисович Школьник родился в 1945 году в городе Кемерово. Имеет высшее гуманитарное образование.

Стихи Леонида Школьника публиковались в журналах «Дальний Восток», «Литературный Азербайджан», «Советиш геймланд», в коллективных сборниках «На берегах Биры и Биджана», «Волшебное дерево», в кассете молодых поэтов «Радуга». Леонид Школьник — участник нескольких творческих семинаров молодых поэтов, лауреат премии Хабаровского комсомола.

С 1951 года живет в Биробиджане.

ПОРА

Приходит пора не авансов — расплат,
и хочется в осень, в пустующий сад.
Когда-то, в неслышно ушедшем году,
теряли мы головы в этом саду,
теряли под скрип оголенных ветвей,
встречаясь — две тени! — с любовью своей.
И что же в итоге? Пришел листопад,
и с ним — неуютное время расплат,
когда уже незачем ныть и юлить —
лишь тем, кто ты есть, полагается быть.

А кто же ты есть?
Ох, не сладок расклад
в холодное время осенних расплат.

Удачно сложилась судьба? Пустяки!
Не вырастил дочку. Забросил стихи.
Но все-таки осень, и листья летят,
как будто в тепле отогреться хотят.

Я каждую осень иду поутру
туда, где деревья дрожат на ветру,
где гасит озябшая за ночь Бира
последние легкие искры костра...

И там, над рекой, на холодной скамье
рождается тихое слово во мне —
о судьбах друзей, о любимой своей,
о листьях, неслышно летящих с ветвей...

1983



ГОРОД, СТАВШИЙ СУДЬБОЙ

Отстучал состав, отгрохал
десять тысяч верст пути.
Ну а это значит — Рохл
надо в Тихонькой сойти.

Слева — роща и кочкарник,
справа — бирская вода.
Рохл вслед смеются парни:
— Ты откуда и куда?

От вопросов мало толка,
но вот этот, — он всерьез:
— Комсомолка?
— Комсомолка!
— Ну, тогда решен вопрос!..

Пусть вокруг одни болота,
пусть темно от комаров, —
есть для каждого работа
в этом лучшем из миров.

— Не останешься без дела!..
И девчонка через час
шила, штопала и пела,
на пенечке примостясь.

Не на фабрике текстильной —
у палатки, у костра.
А повсюду зло и сильно
тархтели трактора.

И в железном этом лязге,
в шуме музыки стальной
было все легко и ясно,
как у мамы за спиной.

То рубашку залатает,
то заштопает носки.
— Рохл — девка золотая! —
говорили мужики.

А один смешной парнишка
улыбнулся:

— Погляди,
вроде крепкое бельишко,
а ремонту — пруд пруди!

Но мальцу ответил Свирин —
коренной амурский дед:
— Вроде ты не без извилин,
но в башке чегой-то нет!..

...жить в тайге селенье —
это, братец, не кино.
Всяк должен свое умение
в дело вкладывать одно!..

— Мудрый дед,
и знает дело! —
Рохл подумала о нем.
За зимой весна летела
час за часом,
день за днем.

Так жила она и пела,
но однажды вышел к ней
ясноглазый плотник Эля —
лучший парень из парней.

Впрочем,
то, что был он лучшим,
Рохл позднее поняла.
А пока — в глазах колючих
синь таежная плыла.

Были речи величавы,
были ночи коротки...
С той поры их величали:
«Бывшие холостяки».

Ну, а что потом — известно:
пролетал за годом год,
город рос, рождались песни,
да и дети —
в свой черед.

Там, где жили Рохл с Элей
пятьдесят годков назад,
удивительно весенний
город вымахал, как сад!

Иногда проснешься рано,
выйдешь из дому, а там
всюду краны, краны, краны
так и ходят по пятам!

«Дальсельмаш» грохочет гулко,
а вдоль берега Биры
из детсада на прогулку
вышла рота детворы.

Песня детства вдаль несется,
как удачи звонкий клнч.
Песне площадь отзовется,
над которой встал Ильич!

...Здравствуй, город на востоке!
Сквозь мельканье дней и дат
я ищу твои истоки
в голосах твоих солдат, —

тех, что с милыми прощались
в роковых сороковых,
тех ребят, что возвращались
с орденами и без них.

Ну, а те, что не вернулись,
живы в сердце горожан,
в молодых названьях улиц,
в дне твоём, Биробиджан!

...Сколько весен за плечами!
Рохл с Элей — старики.
Но идут они ночами
к лунной ленточке реки.

И под звездами земными,
у задумчивой Биры
вновь взмечаются над ними
яркой юности костры.

И стихают разговоры
здесь, на краешке земли, —
словно отблески «Авроры»
в воду бирскую легли.

Словно залпом тем великим
был разбужен этот край,
и, разбуженный, велит им:
— Жизнь, как город, начинай!..

ИРИНА МЕТЕЛКИНА



Ирина Николаевна Метелкина родилась в 1946 году в Риге, в семье военнослужащего. Вскоре семья переехала на Дальний Восток.

Трудовую жизнь Ирина Метелкина начала в 1964 году. Работала на заводе, на фабрике, на стройке, в детском саду. Закончив Комсомольский-на-Амуре педагогический институт, несколько лет преподавала в Ленинском сельском профессионально-техническом училище. Теперь она сотрудница районной газеты «Амурская нива» в селе Ленинское.

Стихи Ирина Метелкина начала писать еще учась в школе. Печаталась в областных и краевых газетах, в коллективных сборниках «Весенних ручьев голоса», «На берегах Биры и Биджана».

МОЕЙ МАТЕРИ

Не сны.
Мои видения ясны.
Вот мать моя беретик натянула,
Ни разу на окно не оглянулась,
Идет среди беды, среди войны.
А в сердце боль.
Все видится она.
Бежит средь пуль по коридору выстрелов.
Багровый крест.
А губы: только б выстоять
И победить.
Будь проклята война!
А в сердце боль,
И вовсе не до сна.
Сегодня дочка — рыжик несмышленный
О бомбе говорила, о нейтронной.
Будь проклята война!
А в сердце боль.
Будь, боль, тревогу бей!
Спит доченька.
Спит сладко день мой завтрашний.
Пусть ей приснятся солнечные зайчики,
А мне ладони матери моей.
В бой, сердца боль!
Мы на посту с тобой.
И наш рубеж нам обозначен явственно.
Вот здесь,
Меж поколений,
Насмерть я стою.
Мне б только в этом выстоять бою.



ПРИШЛА ВЕСНА

Ну, вот опять весна.
И среди утра ясного
Чуть слышно почка хрястнула
И выпустила первый лист она.

Ну, вот и дождались.
Теперь траве раскачиваться,
Громам греметь, раскатываться,
Лучам играть и лить,
Теперь садам звенеть,
Деревьям цветом пениться
И огородам первыми
Ростками зеленеть.
Пришла,

пришла весна!

Теперь земле не маяться.
Как женщине, как матери,
Земле рожать, растить,
А мне тебя любить.
Тебе женой быть верною,
И дочке твоей первенькой
Быть матерью мне.

Быть!

Любить, как в первый раз,
Как в первое свидание,
Любить, как на прощание,
Как в свой последний час.
Пришла весна.

Пришла!

Уже земля распахана,
Окно мое распахнуто,
Распахнута душа.
Встречай!

Встречай весну!

Уж зерна в землю брошены,
И первый лист взъерошенный
В окно мне заглянул.

СПОЗА





ДАВИД БЕРГЕЛЬСОН



Давид Рафаилович Бергельсон (1884—1952) родился в местечке Охримово на Киевщине. Дебютировал повестью «Вокруг вокзала» в 1909 году.

Утонченный психологизм писателя, широкая картина жизни разных слоев еврейской буржуазии и интеллигенции, поиски ими путей в сложной действительности после первой русской революции ярко отражены в романах «Миреле» и «Отход».

Теме Октябрьской революции и гражданской войны, Великой Отечественной войне посвящены романы «Мера строгости» и «На Днепре», сборники рассказов «Бурные дни», «Новые рассказы» и другие произведения писателя.

В середине тридцатых годов Давид Бергельсон жил и работал в Биробиджане.

БИРОБИДЖАНСКИЕ МОТИВЫ

«ВЕСЕЛЫЙ ВЕТЕР»

Как горячие кони, проносились предоктябрьские дни над деревнями и селами, раскиданными по горным склонам, у подножия гигантских утесов. Они вернули Малому Хингану летнее тепло и синеву неба.

На бурном заседании горсовета выяснилось: нет достаточно вместительного здания для празднования Октябрьской годовщины.

Строители заверили:

— Будет помещение!

На рассвете, за тринадцать дней до праздников, заступ впервые вонзился в землю на одном из пустырей. Поздно вечером был готов котлован. На другое утро выложили из камня и промазали глиной с известкой фундамент. На солнце сушились сформированные ловкими женскими руками глиняные блоки, росла гора шлакобетонных кирпичей и лесных материалов. Из реки доставляли бревна, с соседних сопок — камень. Стремительный темп строительства заражал и тех, кто был занят на другой работе.

В небе, совсем как в июле, светило ослепительное солнце.

Бригадира плотничьей артели Велвла Гравера, светловолосого крепыша с зеленоватыми смеющимися глазами на круглом сдобном лице, прозвали «Веселый ветер». Двадцать семь лет его жизни складывались из работы подмастерьем у столяра в родном Хашеватом, службы в Красной Армии и работы в Биробиджане, куда он прибыл четыре года назад гол как сокол в надежде на все радости жизни.

Орудую пилой и топором, «Веселый ветер» возводил леса, и, по мере того как дом поднимался, в нем крепло ощущение, что это, в сущности, не работа, а одно удовольствие. Иногда, вполне уверенный, что рука и сама ровно поведет пилу, он смотрел на копошившихся внизу мужчин и женщин, рывших землю, таскавших кирпич и доски, и от избытка радости кричал:

— Живее, евреи! Пошевеливайтесь!

С высоты лесов он видел черные пятна сопок, белые шапки горных вершин, серебристую ленту реки, и на душе у него делалось хорошо. Но под ложечкой посасывало: очень недоставало ему его девушки, что осталась в Хашеватом...

Среди тех, кто приходил любоваться, как быстро растут стены, был и прикомандированный райисполкомом товарищ Бинем, силач лет сорока, с приятным, почти юношеским лицом, с проседью на висках, с пепельно-серыми глазами, в которых можно было прочесть живость мысли и настойчивость. Все знали его, всех влекло к нему. Не раз уже Велвл кричал ему сверху:

— А! И ты здесь? Вот хорошо, мне нужно с тобой поговорить!..

Раза три Бинем сам лазил к нему наверх и, улыбаясь, спрашивал:

— Когда же ты наконец скажешь, о чем тебе надо со мной говорить?

И Велвл каждый раз отвечал:

— А где я с тобой говорить буду — неужели здесь, среди стука и гама?.. Нет, нет, у меня личное дело... и деликатное. В-ва! Очень деликатное!

— Ах, чтоб ты скис! — улыбался Бинем.

— Живее, еврей! — опять кричал, больше не глядя на него, Велвл. — Пошевеливайтесь!

Молодой таежный город перестал спать по ночам. Костры вокруг стройки напоминали ночные пожары.

Сутками не смыкал глаз и Велвл.

В самый канун праздника Бинем столкнулся с ним, Велвл очень спешил.

— Постой! — с лукавой усмешкой в пепельно-серых глазах остановил его Бинем. — Тебе же хотелось со мной поговорить... Стройка ведь почти закончена.

— Да! — запыхавшийся Велвл просветлел. — Почти готова. Но... видишь ли, у меня к тебе деликатное дело... В-ва!.. У меня, понимаешь ли, есть девушка в Хашеватом... Хотелось бы, чтобы она была в праздники со мною. Но теперь уже поздно.

— Почему поздно? — воскликнул Бинем, хлопнув его по плечу. — Дай ей телеграмму! Она что, тебе только на праздники нужна?..

Пальцы Велвла нервно теребили пуговицу на пальто собеседника.

— В том-то и беда, — полушепотом ответил он, — я ей ни разу за все время не написал... А тут подошли праздники... В-ва!

ШОЛОМ БУБЕС

1

В ноябре 1932 года ветер свалил семафор на маленькой станции Тихонькой, недавно переименованной в Биробиджан.

Оставалось меньше часа до прихода поезда с востока.

Распахнулась дверь крохотного деревянного вокзала, и ворвавшийся ветер словно вышвырнул оттуда в снег и вьюгу и начальника станции, и телеграфиста. Они бросились искать людей, которые помогли бы поставить на место семафор. Раскачиваясь под напором ветра, они то вертелись на месте, то стремительно катились вперед, не переставая озираться по сторонам. У второй — запертой — двери вокзальчика стоял здоровый малый, смуглый, как цыган, в коротком полушубке и в новеньких сапогах, от которых сильно пахло юфтью. Он только что опустил в обшарпанный почтовый ящик письмо.

Опередив начальника станции, к незнакомцу подбежал телеграфист и, приложив руки рупором ко рту, гаркнул:

— Пойдем!.. Поможешь нам...

Но ветер отнес его слова в сторону.

— К семафору!..

Черноглазый человек скорее догадался, чем слышал. На губах его заиграла усмешка, будто он хотел сказать:

«Так и знал: придешь сюда, даром не отделаешься!»

С той же усмешкой он взял у телеграфиста кирку и лопату, привычным движением землекопа забросил инструменты на плечо и направился к поваленному семафору. Ветер подталкивал его сзади.

По другую сторону полотна, в молодом городе с сырыми, промерзшими недостроенными домами, ветер взвихрил сухой снег, поднял над крышами и снова рассыпал. Опять светлее стала длинная улица с глубокими следами в заледевшей грязи. Казалось, их оставили гигантские сапоги.

В самом конце улицы, в залитой солнцем строительной конторе загорелись, будто озаренные изнутри, окна. Было одиннадцать часов утра.

Из конторы вышел человек в стеганом ватнике. На крыльце ему попался Велвл — «Веселый ветер». Человек посмотрел на него исподлобья и спросил:

— У тебя есть дело ко мне?

Пухлое лицо Велвля засветилось такой же радостью, какая была у него в глазах.

— Я хотел бы домой съездить, — ответил он.

— Домой?

Будто вспомнив о чем-то, человек в стеганом ватнике посмотрел на молодого плотника, сказал:

— Зайди ко мне! — и прошел в свой чистый, хорошо убранный кабинет. Он никому не позволял там курить и сорить.

Велвл потоптался в коридоре. Чувствуя, что из его дела ничего не выйдет, он так свирепо насупился, точно, забивая гвоздь, со всего размаха хватил молотком по собственным пальцам.

— В-ва! — произнес он и шагнул к открытой настежь двери другой комнаты — без окон, еле освещенной горевшей вполнакала лампочкой, с небольшой буфетной стойкой в углу.

За столом прежде всего бросались в глаза красные жилистые руки, обхватившие стакан с чаем. Это были руки Бинема, сидевшего в пальто и в шапке. Его окружало несколько человек. Они все вышли сюда на время перерыва заседания.

— А! Велвл!.. — воскликнул Бинем. — Девушке своей написал?

Велвл не успел ответить — кто-то потянул его за рукав:

— Тебя зовут.

Молодой плотник вошел в комнату, где сидел человек в стеганом ватнике.

— Мы скоро открываем курсы, — сказал он. — Ты сможешь подучиться...

— Я слышал, — живо перебил его Велвл. — Но у меня, видите ли, маленькое личное дело... В-ва!.. Скажу прямо: мне хочется использовать сейчас свой отпуск и съездить в Хашчеватое... только туда и обратно..

Заметив, как нахмурился сидевший за столом человек, «Веселый ветер» сообразил, что сморозил глупость. Эх, во всем были виноваты недавние Октябрьские праздники... и та девушка, к которой он питал самые чистые чувства! Все вместе так разволновало его, что никакими словами не расскажешь...

Человек в стеганом ватнике слегка поклонился ему, словно хотел сказать: «Рад за тебя!», затем, посмотрев на него прищуренными и несколько удивленными глазами, сказал:

— Съездить в Хашчеватое и обратно? Как раз теперь, в самый разгар работы?..

— Вот в том-то и дело... Вопрос личный...

Долгая пауза.

— Может, и мне поехать с тобой, Велвл?

Снова пауза.

— У меня тоже найдется личное дело. С поста ты бы тоже ушел по личному делу?..

Поняв по лицу Велвля, какое впечатление произвели его слова, он кинул ему, как своему человеку:

— Скажите-ка там, в буфете, что хватит прохлаждаться.

Велвл вышел. Человек в ватнике посмотрел ему вслед.

Дверь отворилась, и вошел светловолосый долговязый человек в расстегнутой дохе поверх пальто. На его бледном лице блуждала кривая усмешка; он, казалось, был немного сконфужен: приходится ему, такому известному лицу, самому называть свое имя. Неторопливо сняв очки, он вытер их замшей, потом надел, заправил оглобли за уши и крепко зажмурил глаза, чтобы очки хорошо сели на место. Со стороны могло казаться, будто надел ему их кто-то другой, а он только благосклонно позволил это сделать. Пожевав сперва тонкими, чуть скривившимися губами, он сказал, подходя к столу:

— Я — экономист Прус. Однажды был уже у вас... — Так же неторопливо он сел и протянул не-

сколько исписанных листков. — Это план, который я везу в Москву, — сказал он, обводя глазами стены и потолок. — В Нью-Йорке меня знают как специалиста по вопросам колонизации... Я провел некоторое время на Тунгуске близ колхоза «Икор», где живут американские переселенцы. Про меня распустили всякие слухи...

Предоставив человеку в ватнике пробежать глазами листки, он добавил, снова кривя тонкие губы:

— Я же говорю открыто то, что хочу сказать. — В его чуть напевном американском говоре все чаще проскальзывали нотки обиды. — Я полагаю так... Клочки земли, которые здесь обрабатываются среди болот, ровно ничего не стоят... Курам на смех! Америка позволяет себе оставлять невозделанными огромные пространства и ввозить хлеб из Канады. Аляска, при всем ее богатстве, долго не имела своей продовольственной базы. Я не раз говорил: надо перебросить колхозников на строительство мебельной фабрики. Дайте мне возможность поставить на Амуре одну-две фабрики, которые работали бы на экспорт, и я весь край наводню маньчжурским хлебом. Я хотел бы дать вам некоторые объяснения...

Ему стало жарко. Глаза забежали по комнате, высматривая, куда бы положить доху. Он уже начал разоблачаться. Но тут он заметил, что ему протягивают его исписанные листки, и услышал:

— Возьмите!.. Можете их себе оставить! Нам с вами не по дороге.

3

Чернявый здоровяк в новых сапогах и полушубке помогал устанавливать упавший семафор с опытностью и ловкостью заправского землекопа. Предварительно расширив киркою яму, он размельчил промерзшие куски глины. Лишь после того, как столб был поставлен на место, он выпрямил спину, смерил глазами расстояние до ближайшего колодца и сказал:

— Не плохо бы налить в яму несколько ведер. Вода замерзнет, и столб будет стоять надежнее.

Тут он заметил, что телеграфист уже исчез.

— А я, видите ли, сейчас вроде в отпуску, — доба-

вил он почти сконфуженным тоном, обращаясь к начальнику станции.

На обратном пути к вокзалу у них завязалась беседа.

— Ты, сдается мне, из тутошних будешь, — сказал начальник станции. — Не ты ли приставаешь ко мне постоянно насчет пропусков на проезд в товарных вагонах?

— Во-во! — почти обрадовался тот. — В самую точку!.. Как же тебе не помнить меня — Бубес мое имя, Шолом Бубес. Ты даже жаловался на меня в райком за то, что я просил разрешения провозить переселенцев с их барахлишком в товарных поездах.

— Так-так! — вспомнил начальник станции. — Так это ты самый? А я уж думал, что избавился от тебя.

— Не-ет! — не без гордости ответил Бубес. — От меня избавиться не так легко... Просто я в колхозе был.

— Что же ты там делал?

— Что делал? — с усмешкой переспросил Бубес. — Я там председателем был.

— Неужели никого другого не нашли?

— Тебе смешно... Представь себе, к моему приезду колхоз был накануне развала.

— Ну, еще бы!.. А говорили: через два-три года Дальний Восток расцветет, не узнать будет края!

— В два-три года? А ежели в десять—пятнадцать лет, так дело, думаешь, того не стоит?

Начальник станции покосился на Бубеса. Когда в тайге вот так встречаются два человека, они — так уж водится — хотят узнать, кто сильнее — хотя бы в умении поддеть другого словом. Начальник станции заметил, что у его спутника правая рука немного согнута в локте и крепко прижата к боку.

— Почему ты так странно руку держишь? — спросил он.

— Просто так... Привычка. Я много лет под мышкой кнут держал. С шестнадцати лет биндюжником ездил.

Этот парень, оказалось, где только не побывал! На прокладке дороги работал, на лесных разработках, на мелиорации, даже целину поднимал. А если верить ему, он с недавнего времени стал председателем колхоза «Икор», того, что недалеко от Волочаевки, на берегу реки Тунгуски, где строятся в последнее время посе-

ленцы — и свои, и американские. Они там мебельную фабрику затеяли, целый город создать хотят вокруг сопки.

— Ах, да, — вспомнил вдруг начальник станции, — мне говорили, у вас люди разбегаются.

— Кто разбегается, а кто остается, — равнодушно ответил Шолом Бубес.

Они молча шагали навстречу свирепому холодному ветру, низко опустив головы, будто тянули тяжелый плуг. Кругом в сумасшедшей пляске металась снежинки, реденькие и беспокойные. Начальник станции вдруг легонько толкнул Бубеса в бок и куда-то показал глазами:

— Вон, гляди...

Шолом Бубес и сам смотрел туда. В глазах блестял недобрый огонек. На станционной платформе, в том месте, где останавливался обычно мягкий вагон, сутились два человека: долговязый американский экономист Прус и его жена Роза. Молодая женщина без конца переставляла баулы и чемоданы. Их было множество.

— Вот, изволь!.. Насыпь им соли на хвост!

— Теперь ты меня опять будешь часто видеть, — только сказал Бубес, будто и не расслышав.

— То есть как?.. Снова будешь приставать?

— Еще как! Я уже начинаю: мы ждем не сегодня-завтра еще одну американскую семью. У них, вероятно, будет много вещей. Я потому и наведываюсь часто на вокзал... Ты мне разрешишь, я надеюсь, проехать с ними в товарном поезде?

— Надейся, мил человек. Ты молод и полон сил, можешь надеяться!

И, не оглядываясь больше, начальник станции пошел к себе в жарко натопленную и насквозь прокуренную комнатку — закуток, наполненный телефонными звонками, треском телеграфного аппарата и воплями дежурного по станции. Прежде чем он успел притворить за собой дверь, оттуда вместе с волной теплого воздуха вырвался тоскливый вой:

— Отвечай! Диспетчер!

Шолом Бубес остался на морозном ветру, который с возрастающей силой набрасывался на голый деревянный вокзальчик.

Снова ветер поднял снежную пыль во всем городе, понес на крохотный вокзал и, казалось, прихватил с собой маленькую женщину, изящную и смуглую. Она подошла к стоявшим на платформе супругам Прус.

По зимнему пальто цвета бордо с узкой скунсовой оторочкой все узнавали иностранную докторшу Шрагер из колхоза «Икор», что на берегу Тунгуски, близ Волочаевки. Сейчас она приехала проводить своих друзей и, стоя возле них, словно стерегла их багаж, время от времени бросая взгляды на Бубеса.

Жена экономиста Пруса уже несколько раз кричала мужу:

— Нечего туда ходить! Не имей с ними дела, и все!

Но Прус подошел к Бубесу и, глядя на него грустными глазами сквозь огромные роговые очки, заговорил, едва шевеля вечно обиженными губами:

— Вот уж действительно метель — и в тайге, и в головах у многих! К кому бы из здешних работников я ни обратился со своим планом, все от меня шарахаются, как от прокаженного.

Рядом с Бубесом стоял сейчас молодой заведующий Домом переселенцев Арье в облезлом полушубке и стоптанных сапогах. Как всегда, он смеялся, но не лицом, а светло-серыми, с узким разрезом, глазами.

— А вы чего ожидали? — отозвался он на слова Пруса. — Что вам на шею от радости кинутся? Вы всем говорили: зачем, мол, делать мужиков из евреев! Я сам слышал от переселенцев: «Прус говорит — взяли взрослых людей и надели на них детские штанишки!»

Не удостоив Арье вниманием, Прус только бросил небрежно:

— Надо понимать, что другой говорит. — Посмотрев через его голову на покосившуюся вокзальную крышу, словно к ней обращаясь, он продолжал: — В конторе мне сказали: «Обойдемся без ваших объяснений»... Что ж, на то здесь и тайга. Везде в мире кричат во всю силу легких... Попытаюсь изложить свой план в Москве, надо и мне научиться кричать.

Заметив наконец, как холодно смотрит на него Бубес, он захотел узнать — понял ли тот его, расслышал ли его слова в этой выюге.

— Вы всеми мерами хотите доказать, что способ-

ность мышления у вас идет не от головы, а от мускулов. Не пойму, какое это вам доставляет удовольствие!

Выждав несколько секунд, он гордо выпятил грудь, забыв, что ветер в любую минуту может сорвать с него доху, и не торопясь отошел.

— Как ты думаешь, — спросил Арье, будто ровно ничего не произошло, — приедут сегодня наши американцы?

Издали оба видели, как Роза Прус, опустив на платформу вещи, которые держала в руках, что-то крикнула возвращавшемуся мужу. А потом эта изящная женщина в коротком меховом жакете быстро подошла к Бубесу, красиво покачиваясь на ходу. Ветер обвивал вокруг ног юбку из плотного сукна с зелеными пуговками сбоку, рвал с ее головы пестро разрисованный бархатный берет, — точно такие она делала в Нью-Йорке по заказу одного шикарного магазина. На ногах у нее были фетровые, тоже разрисованные ботинки. Как будто желая за что-нибудь ухватиться, она вынула из теплой муфты руку и протянула ее, но встретила только ледяной взгляд Бубеса. Рука повисла в воздухе, потом опустилась.

— Послушайте... — Женщина тяжело дышала от волнения. — Послушайте, я должна вам сказать, что у меня на душе! Из любой страны можно уехать когда угодно, только здесь это называется дезертирством...

С каждой секундой ее лицо все больше искажалось от злости; оно стало почти зеленым, полные бешенства слова вылетали из ее рта, тень легла вокруг губ, и невольно казалось, что смотришь на извивающуюся змейку.

Бубес смотрел на нее прищуренными и сверкающими глазами.

— Ладно! — отрезал он. — Можете жаловаться американскому консулу!

Несколько секунд они молча стояли и в упор глядели друг на друга.

— Как вам не стыдно! — почти прошипела молодая женщина. — Вы, Шолом Бубес, можно сказать, друг...

Сгоряча она не замечала, какими влажными стали ее губы. Чуть вздрогнув, она спрятала руку в муфту. Из груди вырвался звук, похожий на заглушенное всхлипывание. Она кинулась назад к мужу.

Ветер начал стихать, снег повалил гуще, снежинки повисли на длинных ресницах Арье.

— Навсегда потерял друзей! — сказал он, блеснув смеющимися глазами.

Парню было весело хотя бы просто оттого, что снег падал такой густой, как нигде в мире. Хорошо бы сейчас с кем-нибудь побороться тут же, в снегу! Он слегка ткнул Бубеса в бок, чтобы его расшевелить.

— Уйди ты от меня! — оттолкнул его Бубес.

Докторша Шрагер ни на шаг не отходила от Прусов и все твердила экономисту, как ему вести себя в Москве.

С востока донесся шум приближающегося поезда.

Бубес сделал несколько шагов и остановился возле Прусов. Едва поезд показался, он наклонился, выбрал два самых тяжелых чемодана и не спеша вскинул себе на плечи. Его движения говорили о долгом опыте носильщика или ломового извозчика. Прусы уже прощались с докторшей. Роза несколько раз пыталась заговорить с Бубесом, но тот не отвечал. Из-за пыхания паровоза он и не слышал ее. Он слегка сгорбился под тяжестью чемоданов, лицо его побагровело. Как только поезд остановился, он поставил чемоданы в узкий проход мягкого вагона и так же неторопливо вернулся к тому месту, где его ждал Арье.

— Опять не приехали наши американцы! — встретил его Арье. — Снова придется бегать из-за них на вокзал.

ПАРАЛЛЕЛЬ — ПО-РУССКИ ПАРАЛЛЕЛЬ

Поздний октябрь, расцвеченный красками увядания, бродит ошалело по опаленным солнцем горам и долинам.

Я возвращаюсь пешком с Теплого озера в горный поселок, еще носящий старое тунгусское название — Лондоко. Еврей-переселенцы заканчивают здесь строительство большого известкового завода. В этом диком горном уголке, куда и по сей день заглядывают звери, я только что присутствовал на лекции «О методах разведения рыбы».

Идти приходится звериной тропой. Она ведет меня то вверх, то вниз. Стрекот кузнечиков в траве утомляет и расслабляет, как монотонные напевы.

Вывела меня из этого состояния неожиданная встре-

ча. На крутом повороте тропы передо мною очутилась заведующая еврейской школой в Лондоко. Я сразу очнулся. Вернулось чувство реальности. Я снова стал постигать, что тут же, на этих необъятных первозданных пространствах, пробивается, подобно подземному потоку, молодая, трудовая и радостно-напряженная жизнь. Сама заведующая школой — струйка этого потока. В далеком горном поселке она оборудовала прекрасную школу. Сверкающие чистотой окна глядят на расцветающий поселок радостно и бодро, как детские глаза. Заведующая уже не молода. Говорит она медленно, нараспев. Так говорят у нее на Воляни. Я сразу представил себе ее мать, местечковую еврейку в старомодном парике.

— Куда вас несет в такую жару? — спрашиваю я.

— Именно — несет! — подтверждает заведующая.

Она защищает ладонью глаза от солнца и хмурится на русское селение у подошвы горы.

— Не только несет, — прибавляет она, — а разносит! Прямо распирает! — Она кивает на селение: — Я им сейчас такое спою, чего они еще никогда не слышали!

— Что случилось? — удивляюсь я.

— Не спрашивайте. Горе — и только! Сама же виновата. Глупость сделала!

— Что случилось? — снова спрашиваю я.

— Эх! Мы своими руками дали им учителя взаймы!

— Как? Взаймы?

— Да. Русским товарищам в этом селении мы дали учителя взаймы.

— Что, что вы им дали взаймы? — переспрашиваю я, не веря ушам.

— Ну да, — повторяет она, — учителя. Учителя математики.

— Учителя?

— Да, настоящего, живого учителя. Что вас так удивляет?

— Нет, — говорю, — ничего... Я думал, взаймы можно дать деньги, ухват, ну, корыто для белья, что ли. Но давать взаймы учителя — этого я что-то не слышал...

— Вполне согласна, — говорит заведующая. — Разве можно дать взаймы свой собственный глаз? Вы ду-

маете, у нас тут лишние учителя валяются? Самим не хватает! Но что поделаешь, когда люди изо дня в день ходят, просят, кланчат. Как-никак соседи. В праздник — вместе. Чуть у кого беда — на помощь друг другу. И вот надо людям учебный год начинать, а к ним еще учитель математики не приехал. Срывается учеба! Вот мы и дали им взаймы учителя. Уговорились на десять дней, не больше. А они его уж скоро три недели держат. И не видно, чтобы вернуть собирались! Пришлось сегодня все дела бросить и тащиться к ним. Я им такую нахлобучку задам, что долго меня помнить будут!

— Пожалуй, и я с вами пойду, — говорю я.

Мне любопытно посмотреть, что это за учитель, которого отдают взаймы, и как станет моя заведующая взыскивать «недоимку», и как она поведет домой свое живое добро.

Жителей таежного русского селения мы застали за работой. Вспотевшие на солнцепеке до соли на рубашках, они обтесывали толстые бревна. Работал и председатель сельсовета — высокий статный сорокалетний мужчина с красноармейской выправкой.

— Ни стыда, ни совести у тебя нет, Павел Александрович! — сразу перешла в наступление моя заведующая. — Ты нас подвел! Сделали мы вам одолжение, дали учителя взаймы... Уговорились на десять дней. А ты что? Держишь его три недели!..

У председателя оказалась похвальная привычка подумать малость, прежде чем отвечать. Он медленно повернул голову сперва вправо, потом влево и только тогда сказал:

— Постой, погоди! Вы, говоришь, сделали нам одолжение? Учителя взаймы дали? — он вытер лицо, подумал и посмотрел заведующей в глаза. — Ну, а мы? Так-таки ничего вам взамен за ваше одолжение не дали? А это что?

Он показал на незастекленные окна большого здания неподалеку, на котором красовалась вывеска «Клуб».

Моя спутница и председатель продолжали спорить. Я узнал, что заведующая еврейской школой в Лондоко нуждалась в стекле для зимних рам. В русском селении ожидали стекла со дня на день и, чтобы выручить соседей, вынули стекла из окон клуба и отдали

им. Со своей стороны, еврейская школа отпустила к русским соседям учителя математики.

— Ну хорошо, — вынуждена была признать заведующая. — Допустим. Но уговор-то был, что мы вам уступаем учителя только на десять дней? Был такой уговор?

— Что верно, то верно, — признал и председатель. — Был такой уговор: десять дней, и не больше. Но ведь учитель-то ваш говорит, что в русском языке не силен, и просил учительницу к нему приставить. Она с ним заучивает разные там названия по-русски. Как выучится, он и позанимается с ребятами — десять дней, не более. Тогда и вернем. А ты уж думала, мы вас ограбить собираемся, так, что ли?

— Боже! — всплеснула руками заведующая. — Три недели, чтобы заучить названия? А ведь он говорит по-русски. Где он?

— Вон там, — показал председатель на школу. — Сходи к нему, сделай милость. Может, он тебя послушает. Женщина ты солидная. Убеди его, пусть маленько поторопится!

Павел Александрович снова взялся за топор.

В школе уборщица подметала, поливая пол из большого чайника. Окна были по-летнему раскрыты. Горный ветер приносил острые запахи, сливавшиеся с запахом оседавшей пыли.

В одном из классов оживленно разговаривали. Кто-то весело смеялся. Мы вошли. За партой сидел молодой парень с густой шапкой черных волос. Спиной к окну стояла русская девушка лет девятнадцати, стриженная, как мальчик. Узкий синий поясок стягивал тонкую талию. Нос был слегка вздернутый. Глаза, светлые, прозрачные, большие, как крупные виноградины, смотрели задорно и весело.

Увидев нас, парочка смутилась. Девушка повернулась к окну. Теперь мы видели только ее спину. Парень с минуту сидел неподвижно. Вдруг он схватил лежащую перед ним тетрадь и, упершись локтями в парту, принялся усердно зубрить:

— Трапеция — по-русски трапеция; квадрат — квадрат; пирамиде — пирамида.

Заведующая пристально посмотрела на молодую учительницу. Потом медленно повернулась ко мне, прикусила нижнюю губу и тихо шепнула мне:

— Очень очаровательна!.. Теперь все ясно! Вы поняли?..

С минуту она смотрела на парня. На этот раз, кажется, даже с уважением. Потом снова обратилась ко мне:

— Ну, что теперь делать? Будьте умным, посоветуйте. Как поступают в таких случаях?

— Радиус — по-русски радиус, — долбил парень, — параллель — по-русски параллель; диагональ — диагональ; перпендикуляр — по-русски перпендикуляр.

У заведующей был озабоченный вид. Она молчала.

1935

САЛЬВАДОР БОРЖЕС



Сальвадор Боржес (Бецалел Ильич Бородинский, 1900—1974) родился в местечке Рожич, на Украине.

Долгое время жил в Бразилии и других странах. В начале тридцатых годов переселился в Биробиджан.

Сальвадор Боржес начал печататься в 1928 году. Он автор романа «Рио-де-Жанейро», книг очерков «На оккупированной Воляни», «Рест Красное знамя» и многих рассказов.

СТОРОЖА САДА

Рассказ

В то утро Даниил Берин не мог найти себе места. Размяв папиросу, но не закурив, он долго расхаживал по комнате.

Этого высокого человека с густой копной изрядно уже посеребренных волос жизнь не баловала. Родившись в бедной семье, он немало наголодался, набедовался. Солдат двух войн — гражданской (тогда совсем еще мальчишка) и Великой Отечественной... Ну, а вся остальная жизнь — у токарного станка на заводе.

И все-таки он, Даниил Берин, не ощущал груза лет. В нем еще кипела та, давнишняя энергия, он чувствовал, что может еще многое сделать. А тут вдруг на тебе — подошел юбилей...

Вот он и расхаживает с незажженной папиросой по комнате и еще раз переживает вчерашнее собрание, в его честь устроенное в цехе. Все шло так, как и положено в подобном случае. Говорились речи, ему вручили грамоту и подарки. А он в это время думал: «Все это прекрасно, но как это я завтра не выйду на работу?»

Не выйти на работу... Не прийти утром в цех, не встать к станку... Как можно себе такое представить?

Даниил вдруг спохватился, что все еще держит в руке незажженную папиросу. Закурив, он остановился посреди комнаты и позвал:

— Лиза!

Никто не ответил. Он позвал громче. На пороге показалась жена — невысокая, полноватая, со множеством морщинок вокруг когда-то очень черных, а теперь слегка поблекших глаз. Рукава у нее закатаны по локоть, на руках поблескивает чешуя — она чистила рыбу.

Какое-то мгновение он молча разглядывал ее.

— Что ты на меня так смотришь, как будто видишь впервые? — спросила она.

— Я гляжу, — сказал он, — изменилась ли ты с тех пор, когда я увидел тебя впервые...

— Вспомнил время, когда бабка невестой была! — с легкой горечью усмехнулась она. — Ну и как?

— Знаешь, — ответил он. — Немножко ты, конечно, изменилась. Но это не важно, Лиза. Для меня ты такая, какой была. А я? Я тоже такой, как прежде?

— Ты красивее, чем был! — взмахнула руками Лиза. — Что ты представлял из себя тогда? Худой, невзрачный — ноль без палочки. И в кого я только влюбилась тогда. А теперь ты — персоне со статью!

— Ну, а то, что с сегодняшнего дня я пенсионер, тебя не трогает?

— Так ведь и я уже пенсионерка со стажем.

— Ой, пенсионерочка моя!

Даниил подошел к жене, обнял ее. Покраснев, она с напускным неудовольствием вывернулась из его рук.

— Иди уж, иди. Лучше помоги мне разделить рыбу.

— Ну да, — сказал он. — Теперь так уже и будет. Ты разделяешь рыбу, а я при тебе ассистентом.

— Было бы только для кого разделявать, — сказала Лиза, и они пошли на кухню.

Окно кухни выходило в сад, тонуций в лаково-белом цвету.

— Помнишь, Лиза, как мы с тобой садили этот сад? — спросил Даниил.

— Что же я не помню, — переминая рыбу, ответила она. — В то время мы с тобой были чуточку помоложе.

— Да, сил хватало на все, — сказал он. — Отработай день в цеху, потом до позднего вечера — в саду, в огороде. Зато теперь у нас вон какой сад!

— Что из того, — недовольно произнесла Лиза. — Прежде чем в нем что-либо вырастет, тут все оборвут...

По соседству с их домом находится школа, и, естественно, что озорники мальчишки не дают покоя саду. Однако Даниил из-за этого не переживал, а Лизу это волновало.

— Если им надо, пусть сами себе салят сад, — повторяла она. — Нечего выезжать на чужом труде.

— Разве нам двоим столько надо? — пробовал возражать ей Даниил. — Наши дети уже выросли, и внуки тоже. Так пусть другие дети пробуют. Какая тебе разница?

— Не в этом дело, — сердито ответила Лиза.

— А в чем же?

Она молчала, а у Даниила возникла мысль, уже со всех сторон им обдуманная, о которой он до поры ничего не говорил Лизе.

А сегодня, в первый свой пенсионный день, как раз в эту минуту, он решил изложить ей свой план.

— Это действительно не дело, что ребяташки обрывают деревья прежде, чем на них что-то вызреет, — сказал он.

— И что же? — отозвалась жена.

— Вот и план у меня, как сделать так, чтобы они даже не прикасались к деревьям.

— Какой еще план? — заинтересовалась она.

— Очень простой, — ответил Даниил, глядя жене прямо в глаза. — Отдать сад ребятам.

— Что значит отдать? — вырвалось у нее.

— Это значит отдать его школе. Пусть они сами будут хозяевами. Как ты думаешь?

— Ну, а мы?

— Что мы?

— Кем будем мы?

— А мы будем сторожами сада, его охранниками. Я буду охранником. Все равно мне теперь нечего делать. Ну, а под моим надзором ребята будут учиться навыкам садоводства. И вот увидишь, тогда они уже не притронутся к плоду, пока он не созреет, и сад от этого только поздоровеет...

Лиза улыбнулась — признак того, что она готова согласиться с Даниилом.

— Ну, а тебе, я вижу, — сказала она, — тоже прибавится здоровья?

— Мне — конечно!

— Если так, — ответила она, — пусть будет так, как ты хочешь.

В тот же день Берины позвали к себе заведующую школой, уже немолодую, но симпатичную женщину, и поделились с ней своим планом. Та не сразу все поняла.

— Ну, а вы, — спросила она. — Как вы будете без вашего сада?

— Мы будем его сторожами, охранниками, — ответила Лиза.

Заведующая перевела взгляд на Даниила — что он скажет?

— Вы ведь слышите, что говорит моя супруга, — отозвался он. — Как она говорит, так и будет.

Они договорились, что забор, отделяющий сад от школы, снесут. И тогда дети станут хозяевами сада.

Вечером, перед сном, когда Даниил Берин подытожил в уме то, как он прожил первый свой пенсионный день, он решил, что этот день он прожил хорошо. Потому что, воистину, в этот день он принял важное решение, и самое главное, — Лиза тоже с этим решением согласилась.

А сад со своими белыми цветами, облитый желтоватым светом луны, всю ночь заглядывал через окно кухни к Бериным и ничего не знал о том, что они теперь уже не хозяева, а лишь его охранники, преданные охранники.

1970

МОЙСЕЙ ГОЛЬДШТЕЙН



Мойсей Абрамович Гольдштейн (1901—1943) — участник революционного движения в Аргентине. В 1931 году вместе с группой аргентинских рабочих-евреев приехал строить молодую тогда Еврейскую автономную область. Мойсей Гольдштейн пал смертью храбрых под селом Б. Захаровское на Смоленщине летом 1943 года.

Мойсей Гольдштейн начал печататься в 1926 году в прогрессивной аргентинской печати. Он автор книг «Биробиджанцы на Амуре» и «Биробиджанские рассказы».

ОДНАЖДЫ ВЕСНОЮ

Рассказ

Как раз в то время, когда трудные дни остались позади, когда все как будто пошло на лад, когда люди, пережившие немало трудных дней, устроились, кажется, навсегда, когда председатель колхоза Берковер, выглядевший, как человек, приходящий в себя после тяжелой и продолжительной болезни, поправил козырек фуражки и взялся за телефонную трубку — позвонить в областной центр и попросить, чтобы прислали новую партию переселенцев, — как раз в это время он увидел в окно завхоза Грина, шагающего по дороге, ведущей к соседнему украинскому колхозу.

Лицо Грина было хмуро. Он подошел к дверям конторы, тихо отворил их, молча уселся напротив Берковера и посмотрел на него усталыми глазами.

— Что случилось? — спросил Берковер, стараясь заглянуть поглубже в глаза Грина.

— Ничего, — ответил тот, отворачиваясь.

— А все-таки?

— Ничего...

Берковер энергично повернулся на стуле, так что тот даже скрипнул, наклонился к Грину и взял его руку:

— Ничего, говоришь?

Председателю казалось, что сейчас он услышит что-то такое, чего бы и слушать не следовало.

«Неужели это возможно? — спрашивает он себя и смотрит на хмурое лицо Грина. — Неужели на него опять эта дурь нашла?» Он сжимает кулаки, ему кажется, будто он, держа в руках вожжи, сейчас помогает толкать в гору тяжелый воз. Поэтому ни на минуту нельзя отпускать вожжи, нельзя допустить, чтобы колеса хотя бы на полоборота повернулись в обратном направлении...

Грин сидит, опустив голову. В комнате нудная тишина. Берковер не выдерживает этого:

— Скажи как товарищу! Что случилось?

Грин не отвечает. Его широкие плечи нервно опускаются и поднимаются. Он вздыхает:

— Трудно так жить...

Прищуренные глаза Берковера впииваются в Грина. Он научился так заглядывать в глаза людям, которые приходили пугать его тем, что они уедут. Он научился различать, хотят они таким образом что-нибудь получить от него или действительно собираются уезжать. Но в глазах Грина он видит лишь мутноватую тусклость и вспоминает интимный разговор, который произошел между ними некоторое время тому назад. Грин пришел и сказал: «Трудно мне так...» И просил освободить его от работы. Тогда это свелось к отдельной комнате, которую ему предоставили в первом же построенном доме. Но сейчас Беркервер видит по глазам Грина, что возникла трудность иного рода, и он не знает, сможет ли теперь помочь. И Беркервер, который на целый десяток лет моложе Грина, почувствовал себя в положении сына, вынужденного сватать невесту своему отцу.

— Что же, — спрашивает он с натянутой улыбкой, — с Настей так-таки ничего не выходит?..

— Эт... — машет рукой Грин и отворачивается к окну.

Беркервер не знает, что, собственно, означает это многозначительное «эт...». Он знает только, что с тех пор, как Грин познакомился с Настей, он стал другим человеком, как будто бы даже помолодел.

— Что ты, — говорит Беркервер, — ведь она же очень славная!

Грин резко поворачивает голову и придвигается поближе к окну, шея у него краснеет.

— Нечего стесняться, — успокаивает его Беркервер. — Ведь и я холостяк. Думаешь, я не чувствую, как трудно... И в самом деле, сколько же времени можно так? Я и сам хочу начать жить по-человечески! Сейчас вот позвоню, чтоб прислали партию переселенцев...

По лицу Грина расплывается улыбка. Он чувствует теплоту в словах Берковера и поворачивается к нему. На щеках у Грина играет румянец, будто он чувствует себя немного виноватым. Он говорит усталым голосом:

— Ты понимаешь... Ведь нам всегда для жизни, как говорится, «трех четвертей не хватало». Ты же это хорошо знаешь... Не за что было уцепиться. А здесь...

Черт побери!.. — Он указал рукой на тайгу, которая сияла предзакатной красотой, и умолк. На губах его осталась застенчивая улыбка человека в годах, который вдруг почувствовал в себе детскую мягкость.

Эти разговоры Грина — не новость для Беркова. Нечто подобное он уже слышал от него и боялся, что Грин опять скажет: «Придется мне ехать в центр». Сейчас, считает Берков, это было бы равносильно тому, что из наружной стены почти законченного здания вынуть большой кусок. Поэтому он говорит:

— Погоди, братец, вот пришлют новых переселенцев...

А потом, когда Берков держал в руках телефонную трубку, он вспомнил о Грине и попросил, чтобы среди переселенцев обязательно было несколько хороших девушек. «Ведь лучшие люди уезжать хотят!» — изо всех сил кричал он в трубку.

Окончив разговор и как будто успокоившись, Берков посмотрел на дорогу, ведущую в соседний украинский колхоз, и весело сказал самому себе:

«Нет, он действительно шляпа — наш Грин: столько девушек за это время приехало...»

Это было совсем недавно, ранней весной.

Снег на полях уже растаял. Из земли пробивалась первая травка и словно зеленым плюшем покрывала поля и берега рек. Вода в реках побежала с веселым шумом. Сквозь тишину ночи далеко в тайге было слышно ее веселое бормотание.

Грин охватывал ночь горячим взором. Он впивал эту раннюю зарю весны. Он чувствовал в жилах ток свежей крови, свежей и чистой, как вода в той реке, что течет у его ног.

Там, вдали, дома украинского колхоза, где живет Настя. Огней уже давно нигде нет. Колхоз спит. Гармошки замолкли. Песен тоже не слышать. И Настя спит. «А спит ли она?..» Вчера она с ним сидела возле речки. Он и сейчас еще, кажется, слышит ее смех. Грин настораживается, прислушивается, но кругом тихо. Только вода в речке лепечет.

Грин вспоминает:

«Ты старый!» — шептала Настя ему на ухо и смея-

лась, когда он, положив руку на сердце, клялся, что помолодел здесь.

«Что люди стареют — слышала, а чтоб молодели — никогда». Так, смеясь, она и ушла домой.

«Больше не приду!» — крикнула Настя.

«Неужели больше не придет?..»

Когда Грин ушел от реки, была уже глубокая ночь. Окна домов сияли лунным светом, а на крышах раскачивались тени ветвей. Спокойными шагами вошел он в свою комнату. Лег. В широкое окно светила луна и освещала два больших чемодана, залепленные разноцветными таможенными ярлыками.

С этими двумя чемоданами Грин подружился, когда был еще молод. Один на другой наклеивались ярлыки: на аргентинском — уругвайский, а на уругвайском — бразильский и на бразильском — ярлык французской таможни.

«Все это — годы, — думает он, глядя на разноцветные бумажки. — Моя жизнь... А сейчас?..»

«Ты старый» — звенят у него в ушах слова Насти. Да, он и в самом деле стар. Вот они — немые свидетели прошедших лет — эти два чемодана. Но Грин чувствует себя так, будто он только что уехал из дому. Он лежит, прислушиваясь к ночи. Слышит издали, как шумит вода в реке, и кажется ему, будто он слышит восход юного дня.

Никогда, принимая переселенцев, Берковер не чувствовал себя так весело, как на этот раз. Когда ему позвонили со станции и сообщили о прибытии партии переселенцев, он, словно мальчишка, побежал прямо к Грину. Был уже поздний утренний час. Обычно в это время Грин носится по фермам, распределяет работу, следит, чтобы все было сделано вовремя. На этот раз он лежал дома с невыспавшимися глазами и зевал.

— Переселенцы уже на станции! — прокричал Берковер. — А ты все лежишь и зеваешь! — Ему хотелось сдержать возбуждение, но взволнованность выдавала его. Он стащил с Грина одеяло. — Вставай, скорее, надо ехать!

Грин с удивлением смотрел на Берковера, который улыбался и бестолково вертелся по комнате. «По какому случаю он так сияет? Чему он так радуется? По-

чему переселенцы занимают его сегодня больше, чем когда бы то ни было?..» Грин одевался медленно, будто размышляя, стоит ли это делать.

«Ему хочется, чтобы я думал, что он ради меня пригласил переселенцев». Грин вспоминает, как Берковер отзывался о Насте: «Она очень славная». Он улыбается про себя и думает: «Берковер прикидывается дурачком, как будто я не знаю, что он сам по ней сохнет».

— Поторапливайся! — подгоняет Берковер.

— Ты что, собираешься меня посылать на станцию?

— Вместе поедем, — отвечает Берковер и проводит ладонью по свежевыбритому лицу. — Давай скорее собирайся, а я пойду запрягать.

Он вышел и легкими шагами направился к конюшне. Грин следил за ним и улыбался при мысли, что все это выглядит так, словно они оба собираются на смотрины.

Вскоре две пары лошадей, запряженных в два глубоких воза, двинулись по недавно раскорчеванной дороге. В тихом утреннем воздухе раздавался громкий стук колес.

Берковер выехал вперед. Весело играя вожжами, он думал: «Как сейчас нужны хорошие люди, которые серьезно думают строить новую жизнь!» Ведь не так давно его колхоз называли «заезжим двором». Теперь люди прочно сидят на своей земле, и проезжих, которые появляются только затем, чтобы «понюхать», больше нет. У Берковера на душе весело. Он подстегивает лошадей. Те несутся, подняв головы. Он смотрит на них и радуется: ведь его лошади славятся сейчас по всей округе.

Хорошо! Солнце сияет. Леса, горы, реки и поля залиты ярким светом. Следом едет Грин. Он сидит, опустив голову, будто дремлет. Берковер с досадой натягивает вожжи.

«Довела его девка! Такой был человек чудесный!» — думает он.

Возле маленькой железнодорожной станции прогуливались переселенцы. Солнце уже поднялось над горами, люди в соседней деревне давно ушли на работу, и далеко по тайге разносится веселый гул. У стены

вокзала, возле своих узлов, сидит старушка. Солнце греет ее сморщенное лицо. Она немного взволнована и, то и дело перевязывая платок на голове, обращается к двум молодым, прогуливающимся по перрону:

— Чего это вы меня тут усадили?..

А парочки, будто назло, ходят и ходят все время мимо нее. Молодые люди держатся за руки, будто боятся потерять друг друга здесь, в тайге. И, точно споря со старушкой, поминутно подбегают к ней, обнимают ее и кричат:

— Какая здесь красота, бабуся, какое солнце, какой аромат!

Пожилые переселенцы пытаются расспросить о жизни в этой новой стране. Быть может, крестьяне что-нибудь знают о ближнем колхозе, куда направляют переселенцев, действительно ли там так хорошо, как говорят...

Но вот к вокзалу подъехали Берковер и Грин, переселенцы окружили их.

— Еле вас дождались!

— С самого рассвета сидим здесь.

Берковер отвечает улыбкой и все что-то ищет глазами.

Старушка тоже поднялась и, оглядываясь на свои узлы, подошла к возам. Молодежь забегают вперед и кричит:

— Приехали!

— Сейчас поедem!

— Только лошадей покормят!

Переселенцы смотрят на Берковера и на Грина, а те в свою очередь разглядывают переселенцев. Берковер увидел двух молодых девушек, и глаза его встретились с глазами Грина...

— Это вы и есть председатель колхоза? — спрашивают девушки в один голос.

— Да, это я и есть, — отвечает Берковер с улыбкой.

— А квартиры приготовили?

— На дворе ночевать не будете.

— Семейным дадите отдельные комнаты? — спрашивает русоволосая девушка, которая держит за руку молодого парня.

— А школа? — хочет знать паренек с красным галстуком на шее.

— Есть, есть школа, все приготовлено, — отвечает Берковер, не переставая поглядывать на обеих девушек, не отходящих от своих парней.

На обратном пути переселенцы идут рядом с возами, на которые усадили старушку с ребятами. Ребята постарше вскоре соскочили с возов и побежали к Берковеру, забрасывая его вопросами:

— А речка у вас есть?

— А рыбу ловить можно?

— И лес тоже есть?

— И на охоту тоже можно ходить?

Старушка что-то шамкает губами и поправляет платок на голове:

— Усадили меня, будто бы я уже совсем без ног...

Грин шагает возле первого воза и молчит. Он держит себя так, точно вся эта история его не касается, словно он находится здесь случайно. С Берковером он старается больше не встречаться глазами. Грин слышит, как он спрашивает одну из девушек, ведущую парня за руку, не из одного ли они города.

— С одной улицы, — отвечает русоволосая, звонко смеясь.

— Даже из одного дома! — добавляет парень и получает за это от девушки по губам.

Берковер смотрит на вторую пару, ушедшую вперед, словно дорога была им издавна знакома, и машет рукой.

«О чем тут еще спрашивать...»

К вечеру того же дня Берковер ушел в соседний украинский колхоз. У него не было ясного представления о том, что он будет там делать. Он даже не решил, идти ли ему к Насте, а если идти, то как начать этот странный разговор? И, когда он, входя в деревню, вдруг увидел издалика Настю, то обрадовался. Берковер, ускорив шаг, двинулся берегом реки, протекающей вдоль деревни. Впереди него шла Настя. Ее толстые русые косы были раскинуты по плечам, а с их кончиков стекали сверкающие капли. Берковер пошел еще быстрее и вдруг почувствовал досаду на Грина, на этого старого холостяка, который изъездил весь мир и теперь не может обойтись без свата: «Ну его к черту! Пусть едет в другое место невесту себе искать!» — подумал он, подходя к Насте.

— С купанья?
— Да, — ответила она, весело взглянув на него. —
А ты куда, Берковер?
— К тебе, Настя.
— Так рано? Что за праздник?
— Приглашать на вечер. Приехали новые переселенцы. Приходи, Настя, потанцуешь.
— Если еще кто-нибудь пойдет, приду!
— Я иду приглашать. Все придут.
— Ну ладно. Со всеми и я приду.
— А одна боишься?
— Боюсь? Я уже большая. Не хочу, понимаешь?
— Понимаю, — сказал Берковер, улыбаясь. — У людей языки...
— Люди как люди, а Грин еще невесть чего подумает.
— В чем же дело? Разве ты его не любишь?
Настя ответила не сразу, она только искоса взглянула на Берковера, потом, усмехнувшись, бросила:
— А если люблю, так что? — и, протянув руку, холодно простилась.

К вечеру готовились все. Колхозники, словно в ожидании большого торжества, оделись по-праздничному. Лица у них довольные, улыбающиеся: семья прибавляется. Новые переселенцы расселись на скамьях, они чувствовали себя гостями. Украинцы из соседнего колхоза нетерпеливо перебирали ногами и готовились при первых же звуках гармошки пуститься в пляс.

Берковер побрился, волосы его причесаны, но видно, что это стоило ему немалых усилий: на самой макушке упрямо торчит прядь волос.

Грин в темном костюме. На шее — жесткий крахмальный воротник, который, словно в обруче, держит его голову. Настя украдкой взглянула на него и улыбнулась.

— Ты выглядишь совсем как жених! — сказала она, когда он сел рядом с ней.

— А ты как невеста! — ответил Грин, надувая щеки.

Берковер издали смотрел на них. Он приглаживал непокорную прядь волос и глаз не отводил от Настя. Сколько раз он уже видел ее, но только сейчас замечает, что она действительно хороша. Пестрое украин-

ское платье и красные бусы так идут к ее матово-розовому лицу! Глаза у нее пепельного цвета с легкой прозеленью. Он ловит себя на том, что именно такие глаза нравятся ему... А когда Настя смеется, то смех ее звучит мягко-мягко, и так тепло от него становится на сердце, что Берковер готов часами слушать ее голос...

Грин сидит с украинцами. Ему весело. Он как-то посвежел, стал разговорчивее. Берковер замечает это, и двойственное чувство охватывает его: он доволен и не доволен. «И все-таки, — думает Берковер, — это была удачная мысль — пригласить их всех, чем бы это ни кончилось».

Но вот заиграла гармошка, и начались танцы. Берковер смотрит, как нежно Грин обнимает Настю за талию, как оба они проносятся перед ним, и отворачивается к окну... Лицо Грина сияет. Он заглядывает Насте в глаза и улыбается так, словно увидел в них зарю своей юности.

САМУИЛ ГОДИНЕР



Самуил Давидович Годинер (1892—1941) родился на Украине. Он участник первой мировой, гражданской и Великой Отечественной войн. Погиб в битве под Москвой. В тридцатых годах жил и работал в Биробиджане.

Самуил Годинер начал печататься в 1921 году. Его перу принадлежат книги «Биробиджанцы», «Навстречу дню», «Человек с ружьем», «Джим Куперкоп» и многие другие.

В НОВОЙ ИЗБЕ

Рассказ*

В новый дом Израиль Бройда перебрался с вечера. К вечеру как раз показалось солнце. Люди поселка, уже отработав и отужинав, взглядывая на эмалевую синь неба и на золотой диск солнца над Бирой, вместе с крошками махорки смачно сплевывали желтую слюну. Они говорили:

— Видишь, снова настало лето!..

— Когда это страна сплошных капризов! Она то в самую летнюю жару хлупает дождями семьдесят два дня подряд, то, наоборот, когда дождь нужен, — начинает сиять солнце... Не страна, а словно бы какое-то единственное, избалованное дитя...

Когда они увидели Израиля, впрягшегося в оглобли и тащившего на телеге скарб с железной дороги, то обрадовались этому больше, чем солнцу: их языкам такое было добрым куском пищи.

— Израиль, — кричали они ему вслед, — почему с вечера?

— Израиль, ты боишься, что за ночь захватят твой дворец?

Но Израиль им не отвечал. Он молча волок телегу, вертел оглоблями и мысленно поругивал «деятелей», не сумевших найти для него хоть какую-нибудь лошаденку, чтобы перетащить вещи. Он тратил на это свои силы, а они имели удовольствие. Что же, он чувствовал, что ни его жене Алте, шагавшей позади телеги, ни детям, шедшим сбоку, нет необходимости затрачивать много сил, чтоб подталкивать ее. Он и сам еще в силах таскать, трудиться...

Люди глядели ему вслед и говорили:

— Вот этот — для Биробиджана...

— У него тоже блохи в носу...

— Так он за это получил премию...

— Нечего смеяться... Он захватил завалюшку, перестроил ее, у него таки будет дом... И молоком он тоже обеспечен...

* Печатается в сокращении.

— Я не люблю хапать... У меня есть время, чтобы подождать...

— Ну так у тебя будет возможность переспать зиму на чердаке...

— Или да, или нет... Ведь нам обещали квартиры, где они?

— Мало что тебе обещали...

— Ой, дурят нашего брата!..

— Ну, так из этого ничего не получится... Массы нельзя обманывать... Не должны... массы...

Заговорил «агитатор», и люди замолчали. Они не любили «агитатора». Вскоре все разошлись. Какое-то время «агитатор» одиноко стоял посреди улицы.

Израиль Бройда, туда-сюда, сделал три ходки на станцию и перевез скарб. Когда он в третий раз подкатил к своей избушке, был уже поздний вечер, и солнце давно уже село. Он поставил на землю большой топчан, большим грязноватым платком вытер пот с лица и затылка, взглянул на свою Алту, улябнулся ей, набил махоркой трубку, затянулся и, выпустив пару клубков дыма, сказал:

— Вот мы, Алта, уже и дома... Серьезно и навсегда... Тебе дом чем-нибудь пахнется? А-а, хорошо! — и он носом потянул вечерний воздух.

— Ишь, обрадовался, — возясь с вещами, ответила Алта.

— Не балуй, Алта... Не проказничай. Прошу тебя... Я ведь вижу, что и ты довольна. Так тебе жаль доставить удовольствие мне?

— Ты уже разговорился? Вокруг дома черт-те что делается, а он стоит и агитирует меня!

Израиль покружил вокруг Алты, легкая досада охватила его. А досада была из-за ненормальных мыслей: Алта его еще куда как хороша! Ни живота, не сглазить бы, ни той замызганности, что у других, умная. Ум — первый сорт! А почевать придется на улице... Ах, будь оно неладно! «Деятели», черт бы их побрал, украли у него сегодняшнюю ночь... Завтра будет уже не то... Завтра будет уже вторая ночь...

С трубкой во рту он стоял напротив Алты и все думал о том, о чем сказано выше. Алта лишь разок взглянула на него и тотчас же догадалась, о чем он думает. Она тоже ощутила какую-то досаду, которую тут же и высказала ему:

— Впервые вижу в своей жизни человека, который то сыплет словами, то стоит, как истукан, и думает... Вокруг содом, а он...

Эту сценку прервала их «квартирантка» — Эстер Старозакалка. Это молчаливая молодая девушка. Вот она идет сюда своими широкими шагами. Она улыбается своими ярко-зелеными глазами, а лицо аж покраснело от гнева:

— Как вам не стыдно! — сразу набросилась она на них. — Я же вас просила дать мне знать... Ведь я хотела помочь вам... Как вам не совестно! Все сами тащили на себе...

— О, Эстерка! — обернулась к ней Алта. — У тебя есть еще время, натаскаешься...

— Товарищ, — сказал Израиль Бройда, — не гневайся, это не идет твоему комсомольскому лицу. Вот помоги теперь... Что? Ты хотела шагать в одной упряжке со мной?

Ночевали на улице.

В новой избе пока уложили лишь парочку, двойняшек — Эйдена и Семку. Уложить их было трудно — загорелые двенадцатилетние мальчишки были до крайности обижены. Все будут спать на улице, у костра, почти как в сказках об удивительных путешественниках, а они должны валяться в избе. А почему, разве они не такие же равноправные граждане, как отец с матерью?

Но за эту работу — уложить спать детей — взялась Эстер. С Эстер нет смысла препираться. У Эстер есть чем вознаградить за оскорбление. У Эстер есть ружье. Эстер может пообещать что-нибудь такое... А если Эстер пообещает — она выполняет. Эстер пообещала: пойти завтра с ними за фазанами. Завтра свободный день, а фазаны тут разгуливают, будто петухи. Их можно ловить голыми руками. А с ружьем и говорить нечего. И видя перед глазами чудесную окраску фазаньих оперений, усталые дети уснули. Где-то на зеленоватых перьях фазаньей грудки им виделось красное пятно — это Эстер по ним стреляла и попала.

Как только дети уснули, Эстер поднялась. Она хотела пойти к Алте, на улицу. И в эту минуту ей показалось, что ее затошнило. Она подумала, что кусочек селедки, полученный ею на обед, был несвежий, зеленый и расплзающийся. Но в темени она вдруг по-

краснела. Она почувствовала жар на щеках. «Не ищи причины и хоть себе самой не лги», — ударило ей в виски. Между тем тошнота прошла, и она уже сама не знала: то ли ее действительно затошнило, или ей просто померещилось. Она вышла во двор.

В последнюю минуту, когда вся работа уже была сделана, постели и другие «ценные» вещи внесены в дом, а на улице осталось кое-что из мебели да полудохлая корова, Израилю снова вдруг захотелось подумать о том, где переспать.

— Кажется, что ночь будет холодная, — сказал он обоим женщинам сразу, — может быть, мы как-нибудь...

— Как-нибудь я не хочу, — прервала его Алта, — а остолоповские клопы я не стану тащить в новую биробиджанскую избу. Ничего с тебя не убудет, если ты одну ночь поспишь на улице.

Эстер натаскала веток. И подальше от избы, у подножия биробиджанской сопки, разожгли костер. Было тепло и уютно. Чуть попозже над костром взошла неполная луна. Эстер расстелила вокруг костра несколько ряден. Израиль завернул в эти рядна Алту и Эстер.

— Поспите пару часов, — сказал он им и взялся за свою трубку, — потом я подремлю.

Где-то далеко в тайге закричала косуля. Израилю почудилось, будто он слышит низкое похрюкивание дикой свиньи, крики фазанов, всплески рыб в реке Бира, мягкие кошащие шаги уссурийского тигра.

— Какое богатство! — сказал себе Израиль и, пыхнув трубкой, вошел в избу глянуть, как спят дети...

Он подкинул несколько веток в костер, присел лицом к тайге, wygrеб из огня красный уголек и, кинув его в трубку, подумал:

«Мне сегодня пошел сорок первый год, а жизнь только еще начинается...»

Каждый человек имеет свою скрытую страсть. Скрытая страсть Израиля Бройдера — это думать. Или он размышляет о том, как тяжела и горька была жизнь раньше, еще до того, как он появился на свет божий, или он думает о том, что намного легче жизнь теперь. Он думает над тем, что надо сделать, чтобы улучшить и украсить свою жизнь, или заново очень ярко переживает все свои встречи с людьми, разговоры с Алтой, важные происшествия своей жизни. При этом он чув-

ствуется себя очень легко и бодро, словно бы плывет на светлых водах своего былого.

Вот он сидит у костра, подбрасывает в него пару веточек, а из тайги на него как бы надвигается его прошлое.

Остолопье, за день до отъезда в Биробиджан. В нагрудном кармане у него уже лежат все бумаги. В доме все уже упаковано. Теперь надо все упакованное добро разделить: что взять с собой, а что сдать в багаж. Он стоит посреди дома и, прежде чем взяться за работу, говорит:

— Алта, я забыл сказать тебе... Для Биробиджана надо хорошенько подпоясаться... Ты женщина, Алта, но ты у меня закаленный человек! Десять мужиков за тебя не жаль! Так подпояшись, Алта! Ты полагаешь, что построить себе новый дом навсегда — дело шуточное? Трудновато придется. В «Эмес»* писали то же самое.

Он замечает, что Алта смотрит на него, как на сумасшедшего. Он знает, что она скажет на это. И она говорит:

— Пошептать тебе от дурного глаза, что ли? Сумасшедший! Вспомнил! За час до отъезда!..

Но он знает, что Алта хорошо его изучила, они живут играючи. Как бы жизнь ни была тяжела, они всегда играли. Он продолжает игру. Он делается серьезным и говорит:

— За час до отъезда еще не поздно завернуть дышло, Алта. Вот через час после отъезда уже будет поздно, некрасиво. Поговаривают, что Биробиджан уже посылает мед в Америку. Алта, убери слюнки, до меда еще там далеко. Наверное. Но все-таки...

Алта не поддается, в их игре она дает ему сдачу.

— Израиль, — восклицает она, — боже мой, ты уже заговариваешься. Говорят, что помешанных в Биробиджан не пускают...

Израиль смеется. Он доволен! И он похваляется:

— Все-таки выгорело!

— Что?

— Поедем через Москву. Мы увидим Кремль! Ленина в Мавзолее...

— Это они тебе дали в приданое? Воры! И дураки! Воры — это они, а дурни — вы. Как будто есть другая дорога. Другой-то дороги нет!..

* «Эмес» («Правда») — газета на еврейском языке.

Ярко горит костер, Алта крепко спит. Эстер короче Алты, она лежит к ней спиной. Голова Эстер уткнулась Алте куда-то в грудь. Она спит, как ребенок. Неполная луна стоит высоко над тайгой. А по тайге бродят звери. Израилю кажется, что он слышит их крики. Во рту он держит трубку, покуривает и улыбается. Пламя отражается в его темно-голубых глазах. Сердце его, словно кораблик, плывет по большой воде его прошлого. Они с Алтой объездили свет. На целых три года даже увез ее в Америку, и вернулся. Им не понравилась Америка.

— Алта, — сказал он ей к концу третьего года их пребывания в Америке. — Пакуйся, мы едем домой. Мне не хочется быть фаршем для кишки. Америка кишка, а люди фарш. Не хочу, чтобы американский дьявол съел меня со всеми потрохами. Пакуйся, Алта! — хотя к тому времени вещи были уже упакованы и отправлены.

В Америке он не хотел иметь детей.

— Тут мы в гостях, Алта... А в гостях неприлично заниматься такими делами...

Зато они после, в Остолопье занимали сразу близнецов. Двое мальчишек, как дубки.

Вот так, по большой воде воспоминаний его сердце плывет часов до трех. Сердце его баюкается, качается на тихой воде. И он засыпает.

Часа в три на рассвете Алта будит его:

— Иди, поспи, — говорит она, — я уже готова.

Израиль взглянул на спящую Эстер и протянул ноги к костру. Вместо подушки под головой у него кучка сена. Он почти мгновенно засыпает. С трубкой во рту.

На рассвете взошло солнце. Первый луч его разбудил Израиля. И первое, что он увидел, еще почти не проснувшись, была его изба.

Первый взгляд после сна всегда немного темноватый, неясный. Но если ты засыпаешь с радостью на сердце, то просыпаешься... в сладкой тревоге: «Не потеряна ли вчерашняя радость? Ах, вот она...»

Израиль видит: его новая белая избушка стоит, как светлый Дом. Возле избы комод, деревянная кровать, хорошо пропаренная, топчан, стол, несколько стульев, а на новой изгороди развешана постель — три подушки, перина, одеяла, простыни. Все это уже изрядно перечинено, как и приличествует этому старому еврейско-

му добру. И человек тащил это сюда двенадцать тысяч километров.

Израиль вскакивает на ноги. Какое-то мгновение он стоит посредине двора, между своим раскиданным скарбом. Во рту он уже держит свою трубку, доверху набитую махоркой. Над его простоволосой, слегка уже седеющей головой высится биробиджанская сопка, густо поросшая вековыми деревьями и снизу доверху вымощенная осыпью камней.

Солнце подымается над Израилем, над сопкой, над его добром и над новой свежепобеленной избушкой. Какую-то секунду он стоит под солнцем, как огнепоклонник. Ему кажется: вот он падает перед ним на колени и поет ему утреннюю хвалу.

Он наскоро выпивает свой стакан кипятка с хлебом и принимается за работу.

Эстер и дети пошли в тайгу за фазанами. Эстер привезла с собой в Биробиджан небольшое одноствольное ружье. Она одна уехала поездом вперед своей партии. И некому было смеяться над ее ружьишком. Но когда она приехала в Биробиджан и нашла себе уголок, на нее посматривали с подозрением: — Зачем она сюда приехала? — думали люди. — У человека имеется небольшое лукошко с парой белья, подушка и охотничье ружье... Теперь, с ружьем на плече, она с детьми бродит по ближнему куску тайги и ищет фазанов...

Солнце поднялось выше. Алта все ошпаривала мебель, проветривала одежду, палкой выбивала пыль из постелей. Израиль трудился с жаром и с большой радостной охоткой: вот он все расставит в избе, устроит, положит крышу и лишь тогда начнет работать в лесу! Но посредине работы его охватила большая досада, и он растерянно встал. Он уже несколько раз пытался занести мебель в избу, а она не лезет. Не становится. Избушка слишком мала и главное — топчан не лезет в дверь.

Степь большая. Тайга еще больше. Чего-нибудь стоит и его двор. Тут можно построить целый завод. А домик маленький. Кровать разбирается. Частями ее можно проташить в избушку, а топчан «одно литье», он не лезет, хоть разруби его на куски.

— Вот он уже прется сюда, рыжий Бер, — кричит ему Алта с другого конца двора. — Израиль, помни же, о чем мы с тобой договорились.

— Ладно, — говорит Израиль и сызнова начинает измерять топчан. Он еще надеется, что протащит его в дверь.

Через минуту на дороге появляется длинный человек с рыжей бородой и проволочными очками на глазах. На человеке порванные штаны, подошвы его ботинок подвязаны бечевками, а короткая ватная телогрейка подпоясана толстой веревкой.

— Израиль, я иду к тебе, — издали говорит подпоясанный человек с рыжей бородой и темноватыми проволочными очками.

— Ты идешь, значит, благополучно прийдешь... Здравствуйте. Добрый день... Что желает еврей? — не очень гостеприимно спрашивает его Израиль.

От такой встречи рыжебородый еврей в темных очках не в восторге, но он и не теряется. По дороге сюда он, видно, продумал, что ему надлежит здесь сделать, и поэтому говорит сейчас спокойно и как будто с холодком, хотя борода выдает его, вкладывает в его слова насмешку, а глаза упрятаны за темными стеклами, вероятно, они у него вороватые.

— Человеку везет, — говорит рыжий, и борода его двигается, открывает то место, где рот, и открывает на секунду-две узкие, злые, почти синие губы. — Человеку везет! Я слышал, корова у тебя телится... Совсем не ко времени, но если человеку везет, то не касается!..

— Да, да, Бер, — говорит назло Израиль. — Не идет, а прет, летит, само в руки бежит биробиджанское счастье... Разверни полы и хватай... Это же страна молока и меда... Тебе-то я эту истину не должен втолковывать... Но я прошу тебя, Бер... сними тряпье... Ведь у тебя есть что надеть... И очки, за ким лядом они тебе нужны... Неприлично в таком маскараде ходить по Биробиджану...

У этого рыжего Бера тоже есть сердце. Его сердчишко, с тех пор, как оно вместе с ним прибыло в Биробиджан, все тлеет на здешнюю дикость, на гнус, на людей, которые сидят в квартирах, а он должен обретаться на чердаке, а главное, что и здесь, как повсюду, не дают разводить руками, делать что-то... С раскаленным сердчишком лазит этот человек по биробиджанским поселкам. А если человек скажет ему слово про его бездельничанье, то оно падает будто кипяток на разогретый камень — сердчишко начинает кипеть, бур-

лить, kloкoтaть. Вот оно раскипелось на этого... — на Израиль Бройду, он издевается. Но пусть он — этот!.. Однако рыжий помнит хорошо, зачем он сюда пришел. То, для чего он сюда пришел, и для тела, и для души.

— Ты бездельничаешь, Израиль, — говорит он ему. — Лучше бы ты подумал о наших братьях.

— У меня есть более важные дела. Вот... топчан не пролазит в дверь, хоть возьми да и развали стены...

— Ты бездельничаешь, Израиль, — говорит он ему еще раз, — а я думаю, к чему мне все это понадобилось...

— Не беги — никто тебя не гонит... Иди потихоньку... Заверни дышло назад... — говорит Израиль и сызнова начинает мерять топчан в ширину и в длину.

— Куда назад? — спрашивает рыжий.

— Ага! — говорит Израиль. — Лентяй, что же ты спрашиваешь?

— Израиль! — кричит Алта с другого конца двора. — Я не дам вам зря шушукаться... Поговорили, и ладно... Разойдитесь по-хорошему... У меня в руках дрын!..

— Конечно! — говорит Израиль и вдруг весело сплевывает. — Ох, и осел же я! Два часа зря ломаю себе голову! Алта! — кричит он весело. — Есть выход, Алта! Через крышу! Через крышу пролезет в самый раз!

Он тащит новую лестницу к полураскрытой крыше. Рыжий Бер с веревкой на бедрах смотрит ему вслед с ненавистью в глазах, и сердчишко у него кипит.

— Израиль, — доверительно говорит он ему, — ты уже слышал о вчерашних премиях? Нас с тобой обделили, а?..

— Не морочь мне голову со своими премиями... Кого ты тут ищешь? Ты ведь слышал, что сказала моя Алта... Лучше помоги втащить топчан в дом...

Однако через минуту он вспомнил и спросил:

— Ты полагаешь, что тебе причитается премия? За что? Тихо, вот он идет... С него и спрашивай премию...

На дороге показался еще один человек. Этот молод. Он не идет, а шагает — три метра шаг... Этого молодого человека зовут Туермахер.

Туермахер — юноша-богатырь. У него достаточно сил, чтобы один на один выйти с ножом на медведя. Если бы он только захотел, у него хватит сил, чтобы валить в тайге тысячелетние деревья или рубить камень на

Лондоковском известковом заводе, — он может перевернуть горы. Но он занят чем-то другим: он секретарь какого-то отдела. У него полный рот языка и ему трудно произнести слово. Он, словно бы мокрой тряпкой, ворочает во рту языком, тянет его туда-сюда, и пока от него дознаешься, чего он хочет, пропадает интерес к работе, которую он велел делать, если работа эта даже важна и необходима. Для секретаря это большой недостаток. Зато у него свое свойство: его голова всегда полна телеграмм — полученных, отправленных и даже тех, которые только еще предстоит получить или отправить. На своей голове он держит весь Биробиджан. По тридцати телеграмм ежедневно! И всегда он бежит. У этого человека нет даже времени на то, чтобы постоять секунду с другим человеком и выслушать его желания. Ни в коем случае не обращайтесь к нему. Скажите ему, что горит тайга, он спросонья улыбнется и ответит вам:

— У меня голова полна телегра-а-амм...

То же самое он вам ответит при наводнении, при эпидемии или когда прибудет новая партия переселенцев.

Но что-то он делает, этот Туермахер. Что за вопрос — государственная работа! Из-за этого он сейчас и прибежал к новой избушке Израиль Бройды.

Тайга велика, а избушка мала, дверь ее — узкая щель. Топчан не пролазит в дверь. Корова лежит привязанная с полузакрытыми глазами. Ее высокий живот подымается и опадает. Алта трясет подушки. Израиль Бройда стоит на лестнице и измеряет открытый чердак, сумеет ли он через него втащить топчан в дом. Рыжий с веревкой на бедрах стоит внизу и придерживает лестницу. Он уже увидел Туермахера и не хочет стоять без дела. Над ними всеми светит доброе, теплое ноябрьское биробиджанское солнце. Туермахер бежит в этом свете, как добрый посланник, с полным ртом языка и головой, набитой телеграммами. Он еще издали машет руками и кричит:

— Израл, Израл! Подпиши! Скорее!..

Он замечает рыжего Бера и гукает на него:

— Что вы тут делаете?

— Я придерживаю лестницу, чтобы Израиль не свалился со своей новой крыши, — отвечает тот вполне серьезно, а рыжая борода насмехается.

— Ты ведь должен быть в Лондоко! Зертир!

— Доктор... — Рыжий левой рукой показывает на свой пах. — Он сказал, что я покалеченный, и мне нельзя делать тяжелую работу...

— Зертиры! — говорит Туермахер, у него нет времени вымолвить слово целиком. — Подпиши, Израиль...

Солнце стоит уже достаточно высоко.

Израиль Бройда слезает с лестницы. Он нарочно спускается медленно, он испытывает терпение Туермахера. Он знает, зачем Туермахер к нему пожаловал. Он еще вчера дал ему свое согласие.

— Ты прав, Туермахер. Мы так напишем о наших достижениях Калинину, Сталину...

— Быстрее! — кричит Туермахер. — Времени нету!.. — и подает ему бумагу и карандаш.

Однако без Алты такие дела не вершатся. Она подходит сюда. Она заглядывает в бумагу. Израиль сбоку подмигивает ей. Одними глазами она, улыбаясь весело, как бы отвечает:

— Слово за тобой, Израиль, выложи, но только как мы с тобой договорились...

Он пыхнул своей трубкой и не совсем простодушно говорит:

— Выслушай, Алта, я хочу посоветоваться с тобой... Вот пришел рыжий Бер: он вроде бы пришел посоветоваться со мной, что ему делать со своей тяжелой хворью... Кстати, он заботится о еврейском народе...

Трубка у Израйля не горит. Нет табака. Он набивает ее свежим и с большим удовольствием пыхкает снова: Солнце светит. Тайга молчит. Эстер с Эйденем и Семкой бродят где-то в ней и ищут фазанов на обед. На станции свистнул паровоз и ушел. Люди вокруг Израйля стоят ошарашенные. Они видят — он заводится, как помешанный, не к ночи будь сказано. Они слышат — человек говорит не к месту... И поэтому они так молчат. Пусть он выговорится, тогда мы увидим, с кем имеем дело...

Израиль попыхивает своей трубкой и говорит:

— С еврейским народом будет так: кто будет работать, тот будет есть. Я сам это видел в Москве высеченным на камне... ОЗЕТ, чтоб ему радостно было и на том, и на этом свете, не хотел выпускать нас из поезда... Ну, так я их все равно обвел вокруг пальца. Я взял свою Алту, и пошли мы с ней посмотреть Моск-

ву. Там я видел высеченным на камне: «Кто не работает, тот не ест!» Вот так будет и с еврейским народом. Бер... так если ты хочешь есть, иди и берись за работу... Теперь ведь ты спрашиваешь, Алта...

Алта прерывает его:

— Я ничего не спрашиваю, я ничего не хочу, господи боже мой, человек опять стал заговариваться! Сейчас дети вернутся из тайги, а ничего еще не сделано! Товарищи, я прошу вас, идите себе подобру-поздорову домой! Калинин и Сталину мы напишем сами...

— Стоп машина! — вскричал Израиль. — Главное — это мысль! Золотая мысль! Мы таки напишем сами...

Первым ретировался рыжий Бер. Он споро пошагал в своих порванных штанах и подвязанных бечевками ботинках. Шагая, он еще туже затянул веревку на бедрах. Уже отойдя от Израиля на приличное расстояние, он вдруг обернулся, задрал голову и, широко раскрыв в бороде свой безобразный рот, засмеялся гулким, скрипучим, мерзким смехом.

Вторым ушел Туермахер.

Израиль уже без охотки пошел к топчану. Они испоганили ему настроение. Но он взялся за работу. Один конец веревки он привязал к двум ножкам топчана, второй конец намотал на руку и полез на лестницу.

— Стой здесь, — сказал он Алте. — Не надо помогать. Ты только следи, чтоб ножки не цеплялись.

Из улицы, ведущей к парому, послышалась песня. Человек пятьдесят, полная улица, пели:

«По долинам да по взгорьям,
Шла дивизия-я-я вперед...»

Израиль и Алта стали приглядываться, прислушиваться.

«Куда это?» — думает Израиль.

«На речку. Субботник. Бревна таскать», — думает Алта.

«На речку. Субботник. Бревна вытаскивать», — думает Израиль и тянет топчан.

Он не замечает, что втаскивает топчан на чердак ритмично, в такт с песней.

— Не надо мне помогать, — говорит, — не трагь силы зря. Хватит и моих. Ты только поглядывай, чтобы ножки не цеплялись.

К двум часам солнце стоит высоко. К этому времени вся тяжелая работа уже сделана. Израиль Бройда уже

живет в новой избе. И топчан уже стоит на месте.

Простой обед — пшенный суп с зажаренным луком и «фальшивое жаркое», тоже приправленное зажаренным луком, — ели на улице. В избе еще успеют...

После еды Израиль закурил трубку. Покуривая, он задумался. Задумчивый, взглянул на солнце. Ему охота узнать, который теперь час и успеет ли он переделать всю работ к вечеру. Поглядывая, он увидел вокруг себя тайгу, реку Биру, светлую амурскую дорогу и блестящее солнце, похожее здесь на висящий в небе кусок плавленного золота. Зависть охватывает человека к этой удивительной природе, и он громко произносит:

— Ты гляди, какое богатство!..

На дороге показалась Эстер с детьми. Семка побежал к дому, держа за лапки какую-то птицу.

— Подстрелили или купили? — улыбаясь, спрашивает Алта.

Эстер улыбается.

А Эйден клянется:

— Честное слово, мама, подстрелили. Она подстрелила. Она у нее еще сидит в животе.

— Кто?

— Пуля! — весело кричит Семка. — Вот возьми, пощупай. Эстер хорошо стреляет. Попала как раз в живот!

— Хорошо, хорошо, — сказала Алта. — Идите есть.

— Эстерка, — по-отцовски сказал ей Израиль, — на самом деле подбили или купили?

— Что, это большое дело? — тихо улыбаясь, отвечает Эстер. — Тут только требуется одно: знать, где находятся гнезда. Мы почти что вернулись ни с чем. А это случайность. Мы наткнулись на трех разгуливающих фазанов. Кое-как в одного попали.

— Это что, самец? — щупая фазана, спросил Израиль.

— Фазан. Я попала как раз в петуха.

Вечером, когда в избе все уже расставлено и устроено, Израиль присел к столу.

Солнце начинает садиться. Вершины далеких гор начинают убираться всеми цветами радуги. Первый цвет, который они примеряют на себя, — золотистый. И в предвечернем полусумраке они выглядят, будто позолоченные.

ТЕВЬЕ ГЕН



Тевье Григорьевич Ген родился в 1912 году в местечке Жданов, в Литве. Участник Великой Отечественной войны. В 1933—1934 годах жил и работал в Биробиджане.

Печататься начал в 1930 году. Он автор многих произведений.

Тевье Ген пишет о душевной красоте советских людей, которые, вступают ли они только в жизнь, участвуют ли в новостройках Дальнего Востока или на берегу Азовского моря, защищают ли Родину, всюду, в меру своих сил, дерзают, утверждают прекрасное на земле. Его произведения отличаются лиричностью, юмором.

Живет в Москве.

ОТЪЕЗД

Рассказ

Около белого одноэтажного дома, известного в городе под названием «Переселенческий пункт», стоят три грузовика. Они должны отвезти в приамурский переселенческий колхоз «Красный Октябрь» новую большую группу переселенцев.

Выехать предполагалось в восемь утра, но лишь в девятом часу отъезжающим начали выдавать телогрейки и валенки, затем еще прошел битый час, пока столовая всех накормила и выдала сухой паек на дорогу. Одним словом, было около двенадцати, а машины все еще не тронулись с места.

Шоферы — трое молодых рослых парней — уже неоднократно заводили моторы и каждый раз, заглушив их, осаждали заведующего переселенческим пунктом Кленского, шумно доказывая ему, что становится поздно и что нельзя отправляться в дорогу под вечер с таким «грузом».

Кленский, успевший охрипнуть за утро от объяснений со всеми, сердито отвечал:

— А чем вас так не устраивает сегодняшний «груз»? Бочки с керосином вам веселее везти?

— Но ведь все на месте? Кого мы ждем? — настойчиво допытывались шоферы.

Наконец Кленский подошел к грузовикам и с некоторой торжественностью приступил к последней процедуре — проверке, все ли отъезжающие находятся на машинах. Беспокоил его один парень...

— Рувим Бенционович Лапидус с женой и двумя детьми здесь? — начал вызывать Кленский, заглядывая в список.

— Тут, — раздается голос из кузова головной машины, и вскоре показывается голова черного худощавого мужчины.

— Тут! Тут! — кричат остальные пассажиры. — Читайте дальше!

— Авром Ехезкелевич Басис!

— Я здесь, — поднимается человек лет сорока и

продолжает стоять, упершись руками в плечи соседей. Он, видимо, ждет, чтобы у него еще что-то спросили.

— Посмотрите, не потеряли ли вы кого-нибудь из своих? — обращается к нему заведующий. — По моему списку, у вас должна быть еще жена Эстер Вульфовна и четверо детей.

— Спасибо, что сказали, — рассмеялся Авром, и с ним вместе смеются остальные пассажиры.

Авром садится на свое место, и сразу же раздается женский визг: «Ой, ногу, вы мне отдавили ногу!» Снова смех, и кто-то из мужчин острит: «Здесь еще теснее, чем в одесских трамваях».

Между тем Кленский продолжает переключку:

— Гедалье Ханмович Айзеншток с женой и ребенком!

— Здесь! — отвечает Айзеншток, высокий, рыжий молодой человек. — Шифре! — кричит он по направлению к третьей машине. — Отвечай, что и ты здесь!

— Где же мне быть? — доносится тонкий голосок с третьей машины.

На этой машине едут женщины с детьми. Тут пол покрыт циновками и кузов обтянут брезентом. Машина кажется громоздкой и напоминает допотопную карету, зато в пути будет теплее.

— Хане Рувимовна Загускина! — вызывает Кленский.

— Вот я! — каким-то особенно радостным, приподнятым голосом откликается Хане.

Эта низенькая женщина едет не по общему наряду, а по специальной телеграмме мужа, работающего в колхозе «Красный Октябрь» конюхом, и поэтому она чувствует себя как бы выше остальных.

— Арон Тевелевич Портной, — снова раздается голос Кленского.

Тихо. Никто не отвечает.

— Берта Львовна Маенчик!

Тоже тихо.

Заведующий повторяет эти две фамилии еще и еще раз, все громче и с различными вариациями.

— Портной Арон Тевелевич!

— Маенчик Берта Львовна!

— Арон Тевелевич! Механик!

— Берта Львовна! Младший бухгалтер!

Пассажиры тоже помогают заведующему, и со всех

сторон несутся возгласы: «Портной!», «Маенчик!»

Ни жив ни мертв прибегает кругленький человечек со свежесбранным лицом коричневого цвета. Он только что из парикмахерской, которая находится здесь же, при переселенческом пункте.

— Я — Портной, — испуганно говорит он, притрагиваясь руками к пламенеющим щекам.

— Арон Тевелевич Портной? — радуется Кленский.

— Нет, Хаим Янкелевич Портной, — оторопев, отвечает он. — Я бухгалтер в пекарне.

Кленский с досадой отмахивается от него.

Все смеются и предлагают вызывать пока остальных.

Кленский продолжает переключку и через каждые две-три фамилии снова возвращается к Арону Тевелевичу Портному и Берте Львовне Маенчик. Их все нет.

— Сколько ему лет? — спрашивает вдруг Хане Загускина, и глаза у нее вспыхивают при этом особенно озорно. Сразу видно, что свой вопрос она задает неспроста.

— Ему двадцать три года, — заглянув в список, отвечает Кленский.

— Чтобы мне столько было, — воскликнула Хане. — Разгуливает он теперь с этой Маенчик!..

Сняв с колен чемоданчик, она передает его другой женщине, а сама ловко поднимается со своего удобного местечка в середине кузова.

— Вы ищете Арку — сироту из Умани, ведь так? — спрашивает она, едва переводя дыхание. — Я его знала, когда он был еще ребенком. А с Бертой Маенчик он познакомился в поезде, ни на шаг не отступал от нее.

С выражением приподнятости на лице Хане садится на свое место. Это она первый раз в жизни выступила перед такой большой аудиторией и с такой «высокой трибуны».

— Берта Маенчик? — переспрашивает еврей, прибежавший из парикмахерской. — Она высокая такая?

— Высокая, высокая, — вскакивает Хане со своего места. — И огненно-рыжая! — кричит она, радуясь, что приметы совпадают. — Все пассажиры удивлялись: как-них только рыжих не бывает на свете.

— Тогда я, кажется, знаю, где ее надо искать, — промолвил однофамилец Портного и посмотрел на за-

ведущего так, как может смотреть человек, знающий себе цену и уверенный, что никогда и нигде он не бывает лишним. — Уже дня три вижу я эту рыжую особу около нашего дома. Это недалеко, только перейти железнодорожную линию.

— Может, вы сходите туда? — попросил Кленский. — Амурзетская МТС всю зиму умоляет нас прислать механика, а я не могу отправить машины без этого парня.

— Можно и сходить, — не совсем охотно соглашается Портной.

— Чтобы вам было не скучно, — вдруг опять вскакивает Хане Загускина, — я пойду с вами. Помогите мне только слезть с машины.

Через минуту Портной и Загускина отправляются в путь. Оба низкорослые, полные, солидные, они выглядят идеальной парой. Вместе пролезают под вагонами товарного состава.

— По закону запрещается лезть под вагоны, — объяснил Портной своей спутнице, — полагается идти мимо семафора, но зато здесь дорога в три раза короче.

Благополучно выкарабкавшись из-под вагона, они прошли мимо вокзала и свернули на узкую тропинку. Вскоре показался двухэтажный каменный дом. Не успели Портной и Загускина подойти к нему, как перед ними, словно из-под земли, вырос длинный, сухопарый человек и окинул их быстрым пронизывающим взглядом. Казалось, каким-то особым чутьем он сразу пронюхал, кто им нужен, и торопливо спросил:

— Вы тоже к ним?

— К кому? — спросили хором Портной и Загускина.

— Как к кому? К механику и к бухгалтерше. Тут, наверное, с десяток ходоков приходили искать их, но они уже мои! Мои! Я их завербую в нашу гвоздильную артель. Я дам им квартиру, хороший оклад. И теперь, когда у нас будет механик, мы завалим гвоздями весь край.

Заметив, что гости смотрят на него с недоверием, он пояснил:

— Почему, думаете вы, в нашем городе, хоть умри, иногда не найдешь ни гвоздика, ни задвижки, ни чепуховой завески? А все потому, что у меня нет человека,

который смог бы наладить машины. Мой автомат дает только сто килограммов гвоздей в день, а он может дать их полторы тонны. Мне нужен хороший механик. А этот парень из Умани — человек с умом и умелыми руками. Я его заметил еще три дня тому назад, как только он сошел с поезда. Теперь поджидаю его и, как только он вернется со своей женой из загса, сразу же поведу показывать им приготовленную квартиру и...

Хане и Портной переглянулись, как бы спрашивая друг друга: что это все значит и что надо сейчас предпринять? Недолго думая, Хане взяла своего спутника за рукав и отошла с ним в сторону.

— Вам придется сбегать в загс, — шепнула она Портному, — а я сбегая на переселенческий пункт и скажу, что придется еще немного подождать. Молодых вы узнаете за версту. Невеста — огненно-рыжая, а жених — черный как уголь.

Портной недовольно поморщился. Но сознание, что его однофамильца могут перехватить и он не доедет до назначенного места, заставило Портного действовать.

— Ладно, — буркнул он, — я пойду в загс, но, если их там не будет, тогда пускай их сам черт забирает! Одна морока — да и только.

Черно-рыжую парочку он увидел еще издали, на пороге загса.

— А теперь — айда, — с ходу обратился он к ним после поздравления, — вы задерживаете машины!

Мерным шагом все трое — оба Портных и Берта Манчик — отправились на переселенческий пункт. В пути Портной-старший, уверенный, что Портной-младший только его однофамилец, все же начал допытываться, как звали его отца, матушку, деда, дядюшек и тетюшек. Если так уже получилось, что пришлось бегать да искать этого молодого человека, то Портному-старшему явно хотелось, чтобы парень был ему родственником, пусть даже дальним. Тем более, что молодой человек не такой уж простой, из-за него целая кутерьма, он задерживает три машины! Однако самые обстоятельные расспросы ни к чему не привели, никаких родственных связей обнаружить не удалось.

— Выходит, что мы совсем чужие, — разочарованно сказал Портной-старший.

Ему уже можно было отойти теперь в сторону, но

хотелось, чтобы все увидели, кто именно привел эту парочку.

Когда они пришли на переселенческий пункт, оказалось, что все уже прекрасно осведомлены о случившемся. Хане давно успела сообщить. Отовсюду неслись поздравления и пожелания. Молодоженов поместили на первую машину, в самую середину кузова.

С треском, оставляя позади синеватый дымок, машины рванули с места. Заведующий переселенческим пунктом Кленский вытер пот со лба. Все-таки отправил, будет теперь Амурзетская МТС со своим механиком...

БОРИС МИЛЛЕР



Борис Израйлевич Миллер родился в 1913 году в местечке Волковинец, на Украине. Закончил Московский педагогический институт им. В. И. Ленина. С 1936 года постоянно живет и работает в Биробиджане. Он член КПСС, член СП СССР, заслуженный работник культуры РСФСР.

Печататься Борис Миллер начал в 1931 году. Первый сборник его рассказов и новелл «Смена заступает» вышел в 1932 году в Харькове. Поэт, прозаик, драматург и публицист Борис Миллер — автор многих новелл, рассказов, новестей, романа «Каждому поколению свое». Им написано несколько пьес.

ПЭРЛ И НОИ

Рассказ

1

Осень. В запоздалом цветении золотится подсолнух на тонком стебле. Высохший стручок роняет на землю блестящие фасолины. Подсушенные солнцем крепкие, гладкие початки кукурузы, словно завернутые заботливой рукой в желтоватую папиросную бумагу, поблескивают плотно — одно к одному — прижатыми зернами меж свисающих вниз рыжеватых с подпалиной усов. Продолговатые дыни, впитавшие в себя солнечный свет и соки земные, издают сквозь грубую кожу сладковатый аромат.

Старая женщина подняла над головой вязку фаселевых плетей, едва обхватив ее руками. А на соседнем огороде, над леском только что обезглавленных стеблей, выпрямилась русоволосая девушка. Одной рукой она придерживает мешок, доверху наполненный срезанными, черными, в светло-зеленой оправе кругами подсолнуха.

«Что ни день, то становится краше», — думает о девушке старая соседка и окликает ее:

— Бейлкэле... Подойди-ка на минуту...

— Что такое, бабушка Песя?

С мешком на плече девушка подошла к краю своего огорода. Отбросила падающую на глаза прядь волос...

Старуха вовсе не приходилась Бейлкэле бабушкой, они вообще ни в каком родстве не состояли. Но полдеревни были внуками этой сухонькой, подвижной и необычайно любопытной старушки, потому и вторая половина жителей деревни другого имени, кроме «бабушка», для нее не имела.

— Бейлкэле, ты уже, тьфу-тьфу, не сглазить, — невеста... Да, ты становишься красавицей, право...

— Не надо, бабушка Песя, — застеснялась девушка.

— Вылитая мать. Когда она была в твоих летах, вот такую же помню... — Старуха почему-то тяжело вздохнула и спросила: — Скоро уже приедет она, мама твоя? Что-то задерживается...

он, Ной, на порог ее не пустит. Ни за что! Это же чудовище, разбойник, какого свет не видел.

— Неужто? Так вот и не пустит?

— Ты не знаешь Ноя? Он же поклялся, что если только она уедет, пусть потом куда хочет идет. Дома дверь перед ней будет закрыта. И он, этот сумасшедший, так и сделает. Вот увидишь!

Бабушка Песя придвинулась ближе к своей несловоохотливой собеседнице и тихо, как бы доверяя большую тайну, продолжала:

— А Пэрл, думаешь, не знает, с кем имеет дело? Говорят, она остается в городе. Да, да. И детей потом к себе заберет...

— И правильно. Так и надо, очень умно бы сделала, — разошлась и Фейга. — Мыслимое ли дело, изо дня в день надрываться, не зная покоя. А ради чего? Чтобы нацыркать от коровы еще стакан молока... А если не цыркается, так что? Руки на себя наложить?

— Все ж таки, Фейга, подумай. Как так можно? Люди немолодые, двое взрослых детей. Как же так, взять и разойтись? Это же и смех и грех.

— Любви и лада между ними, насколько я помню, никогда не водилось, — ответила Фейга.

Горбясь под своей вязкой, бабушка Песя, побряхтывая, поплелась к себе на огород.

2

Низкорослый, борода колючая, рыжая, кое-где прощитая седыми прядями, стоял Ной в колхозном дворе, переминаясь с ноги на ногу, перед председателем. Видно было, долго уже стоят они так друг против друга — приземистый Ной и долговязый председатель колхоза Букин — и никак о чем-то договориться не могут.

Ной упрямо глядел вниз, на потертые голенища своих юхтовых сапог, то и дело сбивая с них кнутовищем присохшую грязь. И вместе с ошметками грязи падали его отрывистые слова:

— Сказал уже... не поеду.

— Почему?

Ной поднял на председателя тяжелый взгляд:

— Пусть кто-нибудь другой...

— Что другой?

— Кто-нибудь другой пусть едет сегодня к вокзалу...

В старых кожаных сандалиях на босу ногу, в темных плюшевых, изрядно потертых брюках галифе, в выцветшей гимнастерке, председатель колхоза Самунл Букин стоял, опершись о поломанную телегу, — высокий, узкоплечий, с красноватыми глазами хронически недосыпающего человека. Под обветренной кожей лица ходуном ходили желваки. Ох, уж этот Ной! Уперся, как бык, — не поеду и все! И так и этак ему доказывал: керосин нужен до зарезу. Кого-нибудь другого послать нельзя — все заняты. Так разве же его уговоришь! В печенках у него сидит этот Ной!

Вдруг председателя словно осенило, он даже по лбу себя стукнул, дескать: «Ну, и остолоп же ты, братец! О главном-то забыл!»... Быстро подойдя к Ною, он лихо толкнул его в плечо:

— Слушай, Ной. Пэрл твоя сегодня ведь приезжает. Надо же, совсем из головы вышло. Вот заодно и ее встретишь, домой привезешь.

И, считая вопрос решенным, не дав Ною что-либо возразить, Букин быстро зашагал к коровнику. Уже с порога обернулся и крикнул Ною, все еще остававшемуся в той же позе:

— Слышишь, Ной, соломы прихвати побольше! Чтоб не растрясло в дороге. Нам твоя Пэрл нужна невредимая...

И Букин шагнул в коровник. В сырой, остро пахнущей на него полутьме донеслись тяжкие вздохи нескольких коров, которых он еще не успел разглядеть. Заблудившиеся воробьи суматошливо летали и чирикали вдоль узких продолговатых окон, сквозь которые в помещение проникал скудный свет. Приглядевшись, Букин увидел в темном углу на мокрой подстилке корову черной масти с грязно-белыми пятнами на впалых боках. Мучительно выпученные глаза коровы были затянуты влажной пленкой. Изредка она судорожно открывала пасть, с которой свисала пена. В противоположном углу председатель увидел другую, полностью черную корову. У той горой вздувался живот и дыхание было прерывистым, тяжким, со свистом.

Вид этих двух больных коров резанул председателя по сердцу, заставив его вспомнить вчерашний разговор в райкоме партии с секретарем Березиной. Направляясь туда, он знал, что по головке не погладят, но и на

ПЭРЛ И НОЙ

Рассказ

1

Осень. В запоздалом цветении золотится подсолнух на тонком стебле. Высохший стручок роняет на землю блестящие фасолины. Подсушенные солнцем крепкие, гладкие початки кукурузы, словно завернутые заботливой рукой в желтоватую папиросную бумагу, поблескивают плотно — одно к одному — прижатыми зернами меж свисающих вниз рыжеватых с подпалиной усов. Продолговатые дыни, впитавшие в себя солнечный свет и соки земные, издают сквозь грубую кожу сладковатый аромат.

Старая женщина подняла над головой вязку фасолевых плетей, едва обхватив ее руками. А на соседнем огороде, над леском только что обезглавленных стеблей, выпрямилась русоволосая девушка. Одной рукой она придерживает мешок, доверху наполненный срезанными, черными, в светло-зеленой оправе кругами подсолнуха.

«Что ни день, то становится краше», — думает о девушке старая соседка и окликает ее:

— Бейлкэле... Подойди-ка на минуту...

— Что такое, бабушка Песя?

С мешком на плече девушка подошла к краю своего огорода. Отбросила падающую на глаза прядь волос...

Старуха вовсе не приходилась Бейлкэле бабушкой, они вообще ни в каком родстве не состояли. Но полдеревни были внуками этой сухонькой, подвижной и необычайно любопытной старушки, потому и вторая половина жителей деревни другого имени, кроме «бабушка», для нее не имела.

— Бейлкэле, ты уже, тьфу-тьфу, не сглазить, — невеста... Да, ты становишься красавицей, право...

— Не надо, бабушка Песя, — застеснялась девушка.

— Вылитая мать. Когда она была в твоих летах, вот такую же помню... — Старуха почему-то тяжело вздохнула и спросила: — Скоро уже приедет она, мама твоя? Что-то задерживается...

Бейлкэле вдруг необычайно обрадовалась. Она думала, что всем в деревне это уже известно, но, оказывается, есть еще человек, который не знает.

— Сегодня, сегодня, бабушка Песя, приезжает она. — И девушка даже слегка подпрыгнула с тяжелым мешком на плече. — Сегодня ночью!

Она уже собралась уходить, но старуха ее остановила и заставила сложить ношу на землю.

— Подожди, подожди, не торопись. Это правда, Бейлкэле, что люди говорят?

— Что говорят, бабушка Песя? — переспросила девушка.

— Ай-ай-ай, у тебя уже секреты завелись от бабушки Песи! Думаешь, я не знаю?

— Что, что вы такое знаете? — в голосе девушки слышалось недоумение.

— Что значит — что? А то, что мама твоя больше не вернется домой... Она в город переезжает, вот что... Тебя с братишкой она потом заберет к себе.

Глаза у Бейлкэле были такие же, как у матери, — большие, синие. Сейчас они стали еще больше.

— Ну, что вы такое, бабушка Песя, говорите? Кто вам все это наболтал? Мама сегодня приезжает. Письмо есть. Да, сегодня ночью.

Обиженная, расстроенная, не ожидая, что еще скажет старуха, девушка вскинула мешок на плечо, слегка подпрыгнула, чтобы ноша лучше легла, и быстро скрылась среди обезглавленных стеблей, опутанных то тут, то там серебристой паутиной.

С легким шумом над огородом пролетел голубь.

А бабушка Песя уже была у другого края огорода. Возле заросшей травой и пасленом межи она отводила душу в разговоре с Фейгой Азриэлевой. «Азриэлевой» — женой Азриэля. Так уже было заведено в деревне — звать жену по мужу: Азриэлева Фейга, Ноева Пэрл.

Бабушка Песя опустила на землю огромную вязку, покряхтывая, присела на нее и показала в сторону скрывшейся Бейлкэле:

— Не правда ли, Фейга, жалко их, и Пэрл, и ее детей?

— Ничего с ними не случится, — глубовато ответила спокойная, рассудительная Фейга.

— Не говори! Вот пусть она только сегодня приедет, Пэрл, если только правда, что она приезжает, так ведь

он, Ной, на порог ее не пустит. Ни за что! Это же чудовище, разбойник, какого свет не видел.

— Неужто? Так вот и не пустит?

— Ты не знаешь Ноя? Он же поклялся, что если только она уедет, пусть потом куда хочет идет. Дома дверь перед ней будет закрыта. И он, этот сумасшедший, так и сделает. Вот увидишь!

Бабушка Песя придвинулась ближе к своей несловоохотливой собеседнице и тихо, как бы доверяя большую тайну, продолжала:

— А Пэрл, думаешь, не знает, с кем имеет дело? Говорят, она остается в городе. Да, да. И детей потом к себе заберет...

— И правильно. Так и надо, очень умно бы сделала, — разошлась и Фейга. — Мыслимое ли дело, изо дня в день надрываться, не зная покоя. А ради чего? Чтобы нацыркать от коровы еще стакан молока... А если не цыркается, так что? Руки на себя наложить?

— Все ж таки, Фейга, подумай. Как так можно? Люди немолодые, двое взрослых детей. Как же так, взять и разойтись? Это же и смех и грех.

— Любви и лада между ними, насколько я помню, никогда не водилось, — ответила Фейга.

Горбясь под своей вязкой, бабушка Песя, покряхтывая, поплелась к себе на огород.

2

Низкорослый, борода колючая, рыжая, кое-где прощитая седыми прядями, стоял Ной в колхозном дворе, переминаясь с ноги на ногу, перед председателем. Видно было, долго уже стоят они так друг против друга — приземистый Ной и долговязый председатель колхоза Букин — и никак о чем-то договориться не могут.

Ной упрямо глядел вниз, на потертые голенища своих ютовых сапог, то и дело сбивая с них кнутовищем присохшую грязь. И вместе с ошметками грязи падали его отрывистые слова:

— Сказал уже... не поеду.

— Почему?

Ной поднял на председателя тяжелый взгляд:

— Пусть кто-нибудь другой...

— Что другой?

— Кто-нибудь другой пусть едет сегодня к вокзалу...

В старых кожаных сандалиях на босу ногу, в темных плюшевых, изрядно потертых брюках галифе, в выцветшей гимнастерке, председатель колхоза Самуил Букин стоял, опершись о поломанную телегу, — высокий, узкоплечий, с красноватыми глазами хронически недосыпающего человека. Под обветренной кожей лица ходуном ходили желваки. Ох, уж этот Ной! Уперся, как бык, — не поеду и все! И так и этак ему доказывал: керосин нужен до зарезу. Кого-нибудь другого послать нельзя — все заняты. Так разве же его уговоришь! В печенках у него сидит этот Ной!

Вдруг председателя словно осенило, он даже по лбу себя стукнул, дескать: «Ну, и остолоп же ты, братец! О главном-то забыл!»... Быстро подойдя к Ною, он лихо толкнул его в плечо:

— Слушай, Ной. Пэрл твоя сегодня ведь приезжает. Надо же, совсем из головы вышло. Вот заодно и ее встретишь, домой привезешь.

И, считая вопрос решенным, не дав Ною что-либо возразить, Букин быстро зашагал к коровнику. Уже с порога обернулся и крикнул Ною, все еще остававшемуся в той же позе:

— Слышишь, Ной, соломы прихвати побольше! Чтоб не растрясло в дороге. Нам твоя Пэрл нужна невредимая...

И Букин шагнул в коровник. В сырой, остро пахнущей на него полутьме донеслись тяжкие вздохи нескольких коров, которых он еще не успел разглядеть. Заблудившиеся воробьи суматошливо летали и чирикали вдоль узких продолговатых окон, сквозь которые в помещение проникал скудный свет. Приглядевшись, Букин увидел в темном углу на мокрой подстилке корову черной масти с грязно-белыми пятнами на впалых боках. Мучительно выпученные глаза коровы были затянуты влажной пленкой. Изредка она судорожно открывала пасть, с которой свисала пена. В противоположном углу председатель увидел другую, полностью черную корову. У той горой вздувался живот и дыхание было прерывистым, тяжким, со свистом.

Вид этих двух больных коров резанул председателя по сердцу, заставив его вспомнить вчерашний разговор в райкоме партии с секретарем Березиной. Направляясь туда, он знал, что по головке не погладят, но и на

такой оборот, какой принял разговор, тоже не рассчитывал.

«Ничего не скажешь, бой-баба эта Березина, новый-то секретарь, бой-баба», — думал он, чуть ли не с восхищением вспоминая, как здорово ему вчера там всыпали.

«Пэрл, Пэрл... Нет Пэрл, умерла!.. И что же?» — так она ему выговаривала, когда, пытаясь объяснить создавшееся на ферме тяжелое положение, он сослался между прочим и на то, что лучшая доярка почти месяц отсутствует.

Букин не привык, чтобы с ним так разговаривали, он пробовал возражать, но в душе понимал, что ерепениться нечего. Березина, хотя она и новый секретарь и еще не успела до тонкостей узнать все, что делается в районе, безусловно, права. Впрочем, и насчет тонкостей это еще как сказать.

Во время вчерашнего разговора она внезапно спросила:

— Скажите, Букин, это правда, что у вашей лучшей доярки, у Пэрл, дома не все ладно? Будто мужу ее не по душе, что жена его — знатный человек в колхозе, познатнее его? Так это?

— Говорят, — уклонился от прямого ответа Букин.

— Нет, вы мне скажите, правда это или нет?

— Правда.

— То-то, — и она пристально посмотрела на Букина. — Вопрос щепетильный, сложный. А вы не пытайтесь уйти от него. Тут не семейные дразги, нет. Характерами не сошлись, мол, то да се. Тут дело посерьезнее. Тут, если хотите, тоже решается вопрос: «Кто кого?» И мы с вами об этом не должны забывать...

Больше Березина этого вопроса не касалась. Прощаясь, сказала:

— Запомните, Букин, в другой раз так легко не отделаетесь.

На этом закончился разговор.

...Глянув по сторонам и нигде не обнаружив скотника, Букин крикнул:

— Доди!

Никто не отозвался. Тогда он крикнул так, что воровья стая у дверей мигом прыснула во все стороны...

— Доди!

Прихрамывая, появился в дверях невзрачного вида человек со всклокоченной седой бородкой. Некоторое время председатель молча смотрел на торчавшие из бородки соломинны, на примятую кепку, припухшие глаза и красную, в белых полосках, правую щеку...

Почесав за ухом, человек спросил:

— Чего? Звал меня кто? — и помигал седоватыми веками. — Нужен кому я?

Он все мигал и мигал: то глядя на собственные ноги, то искоса на Букина. А председателя душила злость. Он слова не мог вымолвить. Только ткнул пальцем в сторону коровы с грязно-белыми пятнами на боках.

— Вот эта? — покосился скотник. — Нажралась густяком и со вчерашнего дня в рот ничего не берет...

Затем о второй, распухшей корове:

— Дохлятина! Молока от нее — смех один, с наперсток, а жрет — дай боже! Вчера ночью в пшеницу забралась.

— А ты? Ты где был! — не выдержав, сорвался на крик Букин.

— Я? — хладнокровно переспросил скотник и снова мигнул.

Букин выбежал из коровника. Чувствовал: еще миг, и он поколотит этого человека...

Весь двор был усеян соломой и кучками сена. Перепрыгивая с места на место, оглушительно галдели воробы. Их здесь было видимо-невидимо. Остро пахло конским потом, дегтем.

Шаркнув крылом по земле, у самых ног Букина поднялась ворона и тяжело, боком полетела в сторону. Букин проводил ее все еще гневным взглядом. И тут ему на глаза снова попался Ной. С трудом отрывая сапоги от земли, он не спеша запрягал в телегу буланых, злобно награвдая их тычками то по бокам, то по морде.

— Быстрее собирайся! — крикнул ему Букин. — И не возвращайся без Пэрл, понятно?

Букин, оказывается, раньше только делал вид, что забыл о приезде Пэрл. На самом деле он об этом только и думал, когда завел разговор с Ноем. Раздоры между Пэрл и ее мужем еще до разговора с Березиной немало беспокоили Букина. Лучше всего, думал эя, чтобы Ной сам встретил ее на вокзале. Дорога до дому неблизкая, успеют поговорить и, может, до чего-нибудь

договорятся. А керосин — ну что ж, керосин тоже нужен.

Ной даже не посмотрел в сторону председателя. А ни в чем не повинную пристяжную хлестанул так, что та даже подпрыгнула.

— Холера тебе в бок! — зло выругался он.

3

Целый месяц Пэрл лечилась от мучившего ее в последние годы ревматизма. А Ной не верил: притворяется... Если кто болен, думал, так это он. И если колхоз посылает на курорт, то почему ее, а не его? И вообще, что за порядки пошли на белом свете? Испокон веку велось: жена — дома, ее дело — хозяйство, дети. И больше носа никуда не суй! А с тех пор, как стали эти колхозы, все перевернулось вниз головой... Пэрл, его Пэрл стала работать в колхозе на ферме, и он ее не узнает, как будто ее подменили... Бывало раньше, если дома по хозяйству что-то не так, он только взглянет на нее исподлобья и, смотришь, ее в жар бросает. А теперь — теперь попробуй крикни на нее или, не дай бог, замахнись рукой! Тут такое поднимется...

Вот и сейчас: Пэрл прохлаждалась на курорте, а он здесь ночи напролет глаз не смыкал. Лежит, слушает, как по степи ветер гуляет, бьет наотмашь по окнам — как только стекла не выпадают. И кажется ему, Ною, что кто-то к нему стучится, кто-то с насмешкой, с издевкой сейчас ему крикнет: «Один остался, старый дурень? Так тебе и надо». И в самом деле, где это слыхано: она, Ноева Пэрл — все, а он, сам Ной — ничего не значит. Этак можно и до такого срама дойти, что его, чего доброго, станут звать по ее имени. «Ной? Какой Ной? А, это тот самый, муж Пэрл...»

Эти тягостные мысли занимали его и сейчас, в пуги на станцию. Навстречу подводе с тарахтящей пустой бочкой набегали, все увеличиваясь в размерах, телефонные столбы, а потом, оставаясь позади, становились все меньше и меньше. Тонкие, прозрачные нити паутины липли к бороде. Клубками висела паутина на сухих сорняках, лениво качавшихся по всей, насколько хватало глаз, пожелтевшей степи. Каждый раз в другом месте с шумом опускались целые стаи ворон, в одиночку и парами рыскали они по стерне, затем с гром-

ким карканьем всей стаей взмывали вверх, оставаясь висеть в воздухе разорванной черной тучей...

Ной часто и зло стегал кнутом лошадей. Позади него подпрыгивала и тоже зло позванивала пустая железная бочка. Он спешил, хотел скорее получить на нефтебазе керосин, чтобы отправиться в обратный путь еще до прихода вечернего поезда, которым должна была приехать Пэрл. Букин-то... чего захотел, чтобы он, Ной, сам отвез Пэрл домой? И это после того, как все в деревне знают, что перед ее отъездом он заявил: «Домой можешь не возвращаться!» А она... Много думала она о нем там, на курорте? Целый месяц прохлаждалась у моря, черт знает с кем ласы точила, бездельничала, а он здесь все хозяйство тащил, ночи не спал. Не нужна ему, Ною, такая жена. Колхозу нужна, так пусть колхоз за нею и посылает.

«Ну, так вот, Букин тебя же и послал, — кольнуло в мозг, — все дырки тобой затыкают». И он вспомнил, как Букин крикнул ему, чтобы побольше соломы захватил, чтоб не растряс в дороге «драгоценное сокровище», Пэрл. Да он просто решил поиздеваться над ним, Букин.

— Пошел! — Ной со всей силой стеганул кнутом по лошадям. — Хвороба вам в кости!

4

Пока он получал на нефтебазе керосин, над степью в зареве заката угасал осенний день. Над землей простерлось темное, словно обгоревшее, небо с редкими блестящими звездами.

Ной уже довольно далеко отъехал от нефтебазы. Позвякивая подвешенным ведром, подвода уходила в темень, а он, словно убегая от опасности, все гнал и гнал лошадей, поворачивая их к переезду через железнодорожную линию, чтобы оттуда прямым ходом — домой.

«Будут болтать. Ну и пусть, — преодолевал он в себе какой-то проблеск сомнения в том, правильно ли сейчас поступает. — Пусть знают, что и он, Ной, чего-нибудь стоит, что шутить он с собой не позволит. Как сказал, так и сделал. А кататься на мне, — все более распалял он себя, — я никому не позволю: ни Букину, ни Пэрл... Хвороба им всем!»

Букина он все-таки побаивался и старался себя

подбодрить: «Ну и что? Керосин я привезу? Привезу. И хватит. А за мою жену пусть у него голова не болит...»

И вдруг, разом откинувшись назад, к бочке, Ной рванул вожжи, с трудом остановив лошадей у самого железнодорожного полотна. Резкий гудок разорвал ночную тьму. Рассыпая по сторонам огонь и искры, промчался мимо паровоз.

Мгновение — и не было бы ни Ноя, ни лошадей. Поминай как звали! Только сейчас он понял, какую страшную опасность избежал в последнюю минуту, и задним числом до смерти испугался... Задрав в разные стороны оскаленные морды, дрожали, пятились назад испуганные лошади. Всеми силами сдерживая их, Ной дрожал на передке телеги, а мимо него с подпрыгивающим лязгом проносились один за другим ярко освещенные вагоны. Позади них, в обратном направлении, шел товарный состав, и огонь паровозной топки словно заглядывал поочередно в окна пассажирского поезда. В этом причудливом двойном свете Ной вдруг заметил прижавшееся к оконному стеклу улыбающееся лицо женщины в белом платке. Он готов был поклясться, что это его Пэрл. Но что-то не помнится ему, чтобы она когда-нибудь так улыбалась...

Где-то там, у вокзала, поезд остановился и весь как бы собрался в плотное большое световое пятно. Низко над землей расползались клубы пара и дыма, и стоял острый запах перегоревшего каменного угля.

Тому, что случилось затем, Ною трудно было найти объяснение. Может, сами лошади, помимо его воли, развернулись. Но хватился он тогда, когда уже проехал изрядное расстояние обратно к вокзалу, где — ему это представилось очень ясно — стоит в ожидании Пэрл со своими вещами. Уже отчетливо видны были контуры станционных зданий.

Пальцы Ноя больно обжег огонек докуренной махорочной самокрутки, и это вывело его из оцепенения. Он в сердцах швырнул окурочек наземь и, резко натянув вожжи, развернул подводу. Скользя по подрагивавшим рельсам вниз, на едва заметную в темноте проселочную дорогу, телега ходко покатила в обратную сторону.

Издали донесся еле слышный гудок отходившего поезда. Яркой зеленой звездочкой светил на той сторо-

не семафор. Ночная дорога прохладно и тускло ложилась под поскрипывающие колеса. Живое скопище звезд мигало и мерцало над головой.

Позади согнутой спины Ноя в железной бочке перекатывался и глухо хлюпал керосин.

5

Пэрл еще ребенком осталась сиротой. К десяти годам пошла в прислуги, правда, не к чужим, а к дальнему родственнику. Тот жил в деревне, имел ветряную мельницу и слыл богачом. Звали его Зхарья.

Прибеднялся: «Тоже мне жизнь — от ветра живу». Но люди знали: «процентник» он, деньги в рост дает.

Основу своему богатству Зхарья заложил сам. Отец его, из бедняков бедняк, умер, по слухам, с голоду. Мальчик на посылках, затем рабочий на мельнице — с этого Зхарья начинал. Детей не было. Жена — дочь хозяина, через нее он и мельницу унаследовал, — вскоре умерла. Второй раз жениться не стал. Поговаривали — из-за скупости, чтобы никакой другой человек возле него не кормился. И еще говорили: этот реб Зхарья самому себе хлеба кусок жалеет.

Ной в то время был еще мальчиком, прислуживал в лавке. Однажды хозяин поймал его на воровстве и прогнал. Тогда Зхарья взял мальчонку к себе на мельницу. Ной, уже подумывая о том, как бы выйти в люди, старался задобрить хозяина, работал, как лошадь, днем и ночью. Зхарье это нравилось, и когда Ной вот так у него отбатрачил за скудные харчи несколько лет, как-то позвал его к себе домой и сразу огорошил вопросом:

— Нойехце (так обычно он его звал), жениться хочешь небось? А?

Спросил словно бы так себе, невзначай, но при этом так посмотрел пронизывающим взглядом своих маленьких черных глаз из-под мучнисто-белых бровей, что Ной сразу понял: неспроста Зхарья задал этот вопрос. Неужели он что-либо проведal насчет Миндл?

Ною тогда нравилась одна девушка. До сих пор, уже столько лет спустя, припоминаются ему, словно в тумане, две косички льняного цвета, глаза какого-то странного зеленоватого оттенка и розовые, будто клубничные, щеки. Звали девушку Миндл.

Зхарья — к тому времени он уже успел разменять

седьмой десяток — сморщил свое плоское лицо, затряс широко разросшейся мучнисто-белой, как и брови, бородой. Ной еще не успел ответить, как старик, тыча в него кривым пальцем, зашелся визгливым смехом:

— Ай, хочешь, Нойехце, ай, хочешь... Я-то вижу...

Затем Зхарья перестал смеяться. Тем же кривым пальцем поманил Ноя поближе к себе. И Ной никогда не забудет того, что тот ему тогда сказал: он, Зхарья, уже не молод, на все божья воля, вечно никто не живет... В случае чего, он хочет, чтобы мельница попала в хорошие руки. За знатностью он не гонится, сам с приказчика начинал...

Сидя на краешке стула, Ной смотрел хозяину прямо в рот и не мог взять в толк, к чему старый Зхарья клонит. Одно ему с каждой минутой становилось все яснее: то, что Зхарья позвал его к себе, усадил на стул, а не оставил стоять, как всегда, у притолоки, то, что хозяин, как никогда, разговаривает с ним, будто с равным, — все это неспроста, что-то такое он задумал. Но что? Как бы поддразнивая парня, старик спросил:

— Ну, понял, о чем я говорю? Ты же, Нойехце, не глуп, клепка в голове есть...

И он опять, давась смехом, затряс мучнисто-белой бородой.

Выпученными глазами Ной смотрел на хозяина и все еще ничего не понимал. Потом, когда Зхарья снова заговорил, у Ноя появилась какая-то догадка, но он ее отогнал прочь. Нет, не может этого быть!

Пока наконец старик не дошел до корня: он хочет, чтобы Ной женился на Пэрл. Да, именно так, Нойехце не ослышался — на Пэрл... А он, Зхарья, ее удочерит.

Мельница! Вот что в это мгновение прежде всего встало перед глазами Ноя. Она росла, росла до самых облаков... И с чудовищной скоростью вращала крыльями, затмевая все, даже солнце. В этом головокружающем вращении все исчезало, в том числе и Миндл.

У него перехватило дыхание. Он еле промямлил:

— А она, Пэрл... захочет?

Зхарья снова зашелся визгливым смехом. Поблескивая черными, влажными щелочками глаз, он только рукой махнул:

— Ну и скажешь, Нойехце... Хочет ли она? А кто ее спрашивает?

И оборвал смех:

— Кто здесь хозяин?

Вскоре справили свадьбу.

А после свадьбы оказалось, что незадолго до этого Зхарья втихомолку мельницу продал. В тягость стала она ему на старости лет. Хватит с него и того, что приносят проценты. А от прислуги — зачем ему взрослая прислуга — надо было как-то отделаться. Тем более, не просто прислуга, а родственница, бедная родственница... Так надо ей подыскать жениха, сделать доброе дело, чтобы, как говорится, и перед богом, и перед людьми. Жених, правда, неважный, но ничего, сойдет. Ну, а Нойехце? Хе-хе, пусть не будет ослом и не развешивает уши, принимая на веру все, что ему говорят...

Так началась семейная жизнь Пэрл. Обманутый Ной считал ее главной виновницей своих бед. Полгода не прошло, как она от его брани и побоев убежала куда глаза глядят. Даже не посчиталась с тем, что ребенок под сердцем стучится. Одни говорили, что она живет где-то в дальней деревне, другие — что в городе устроилась прислугой.

Ной ее не искал.

Неожиданно, посредине зимы, Пэрл появилась с посиневшим, почти замерзшим младенцем — девочкой на руках и, сама еле живая, так и свалилась у Ноева порога...

6

Ной приподнял отяжелевшие веки, прислушался. В непроглядной тьме за подводой словно катилось слабое эхо. Вскоре с ней поравнялась и легко обогнала повозка, запряженная парой рослых лошадей. Седоков он разглядеть не успел. Кучера в темноте вовсе было не различить, а сзади виднелась какая-то закутанная фигура — не то ребенка, не то женщины. Должно быть, подумал в полудреме Ной, кого-то везут с вокзала в соседний колхоз.

Он громко чмокнул губами, подбадривая своих буланных. Одна из лошадей вдруг споткнулась. Керосин в бочке хлопнул сильнее.

А Ноя меж тем снова одолел сон. Расслабленные пальцы выпустили вожжи, уронили добрый кнут, подарив его степи. Обрадовавшись тому, что их оставили в покое, лошади, пофыркивая, все замедляли и замед-

ляли шаг. Казалось, их тоже баюкала и вместе с тем пугала прохладная, неуютная ночная тьма с очень слабыми просветами где-то там, на краю неба...

Вдруг раздался сильный треск. Спросонья он показался Ноею оглушительным. Спрыгнув с телеги, он еще больше испугался. Лошадь, шедшая в упряжке слева, скалила крупные зубы, била копытами по воздуху, хрипела. Одним концом у нее на шее, другим — за колесо зацепилась выпавшая из рук сонного Ноя вожжа.

Голосом невиданной ночной птицы прокричала где-то поблизости автомашина. Вот она уже рядом, и не успел Ной разобраться, что за беда приключилась, как из остановившейся машины выскочил водитель — ловкий молодой парень, бросился к лошади и сильным ударом ножа разрубил душившую ее туго натянутую вожжу. Буланый тяжело рухнул на колени, затем медленно, все еще продолжая хрипеть, поднялся.

— Откуда? — спросил шофер Ноя, смерив его презрительным взглядом.

— Из колхоза я, — растерянный, напуганный случившимся, тихо ответил Ной, — из «Октября».

— Много там таких соней, как ты? — съязвил шофер и обратился к кому-то сидевшему в машине: — Вот, поработай с такими...

— Да что ты, да я и не спал, — пытался оправдаться Ной, — что ты... И как только все это произошло...

Постепенно приходя в себя, он, что-то бормоча, стал приводить в порядок упряжь, поглядывая в сторону автомашины: кто это там едет, кого нелегкая несет?

Из кабины выглянула женщина. «Неужто Пэрл? — оторопело подумал Ной. — Только этого не доставало. Машину за нею снарядили, как же!»

Но это ему только померещилось, а стояла возле него, выйдя из машины, Березина — новый секретарь райкома партии.

— Так говорите — из «Октября»?

— Оттуда...

— Как звать-величать?

— Бердник, Ной Бердник.

Быстрым взглядом Березина смерила его с ног до головы.

— Знатная доярка Пэрл — ваша жена?

Он посмотрел на нее снизу вверх:

— Ну так что?

— Что значит «ну так что»?

— Ну, моя.

Некоторое время Березина молча смотрела на этого странного ершистого человека, словно изучая его.

— Что вы меня так разглядываете? — не выдержал Ной. — Не такой человек как все?

— Наслышана о вас, — ответила Березина, — вот и хочу посмотреть.

— Что такое вы слышали? Можно подумать...

— Была бы рада услышать другое.

— Моя это забота, ничья больше, — пробормотал Ной.

— Что именно?

— А вот то, как я с женой живу.

Он замолчал. Затем, как бы на что-то решившись, шагнул в сторону Березиной:

— Спросить можно?

— Спрашивайте.

— Вот вы тут секретарь райкома, командуете... Так вот, ответьте мне...

Ной перевел дыхание. Еще шагнул вперед.

— Вы мне приказали отвести на колхозный двор моих лошадей, я отвел.

— Не я приказывала, — перебила его Березина.

— Не вы, так другой, какая разница? Но я отвел. Два коня у меня было — обоих отвел. И корову отвел. Сейчас скажите мне, — он прищурил глаза, — жену я тоже должен колхозу отдать? Или, может, такого законка пока еще нет?

«Не так уж он прост», — подумала Березина. Подождав, может, он еще что-то спросит, но не дождав-шись, она тихо, даже как-то растягивая слова, сказала:

— Вот для вас, Бердник, действительно все равно — что колхозная лошадь, что ваша жена. Обейм, вижу я, от вас достается...

Она подошла к буланому, который все еще тяжело мотал своей большой головой, ласково, успокаивающе провела рукой по длинной морде, а Ною сказала:

— Запомните, Бердник: с прежним «моя жена, моя лошадь; что хочу, то творю» — покончено. Сейчас это не только ваша, но и наша общая забота.

Ной молчал.

Березина еще что-то хотела сказать, но потом поду-

мала, что обстановка для этого малоподходящая, и только спросила:

— Когда жена приезжает?

Он снова снизу вверх бросил на Березину подозрительный взгляд:

— Не знаю.

— Мы с вами еще поговорим, Бердник. Я как раз собираюсь к вам в «Октябрь» поехать, там и поговорим.

Она заторопилась к машине и, уже сидя в кабине, крикнула Ною:

— Подождите, дайте лошади прийти в себя...

Машина тронулась с места, блеснула фарами и скрылась в ночной степи.

Ной еще долго стоял возле телеги, смотрел туда, где скрылась машина, и бормотал: «Хозяева! Все их касается». Лошадь все еще ворочала головой из стороны в сторону. Со сжатым кулаком Ной подошел к ней с намерением отвести душу, но занесенная рука почему-то повисла в воздухе. Он опустил ее и с воплем: «Хвороба вам в кости!» — принялся связывать разрезанную вожжу.

7

Подрагивая, маленькая звездочка все пыталась, но никак не могла вырваться из плена, в котором держала ее лужа у дороги.

Ной завернул повозку, чтобы напоить лошадей. Отъезжая, колесами взболтал лужу, погасил звездочку.

Дальше дорога шла на подъем, и как ни подбадривал он буланых: и губами чмокал, и вожжами шевелил — кнута-то не было, — двигалась телега медленно.

Тьма над степью меж тем начала редеть.

Отъехав несколько километров, Ной услышал — или ему это показалось? — чей-то далекий крик. Потом до него уже более явственно донеслось:

— Э-ге-гей!

Остановился, прислушался — ничего. Тронул с места лошадей, и снова:

— Э-ге-гей!

«Кто-то хочет, чтобы его подвезли, — подумал Ной. — Если по пути — почему бы нет? Конечно, не за спасибо. Такса известная: легкий пассажир — тройка, с поклажей — два тройка».

В первых проблесках рассвета Ной вскоре разглядел вдали расплывчатое пятно: кто-то с двумя узлами возле ног стоял у дороги.

«С поклажей, — обрадовался он. — Два трояка, не меньше. А если нет, пусть топают пешком».

Впервые за эту трудную ночь Ной немного повеселел. Вынул из кармана сложенную газету, аккуратно оторвал кусок, сделал самокрутку, осторожно насыпал махорки.

Человек там, впереди, ждал. Вот Ной уже разглядел поклажу. В глаза бросилась белая плетеная корзина... И сразу — до удушья — горло перехватил дым от папиросы. Первая мысль — развернуть лошадей... Но было уже поздно...

Застигнутый врасплох, он не знал, что делать, как держать себя, и пробормотал первое подвернувшееся на язык:

— Откуда? Ночью, одна...

Будь он не так растерян от неожиданности этой встречи с глазу на глаз в ночной степи, может, и услышал бы в ответ и удивление, и нечто похожее на радость, на готовность что-то простить.

Но он ничего не услышал. «Может, — вдруг подумалось ему, — он-таки заснул, и все это ему снится? То, что потерял кнут, что коня чуть не задавил... Машина, Березина... А сейчас она — Пэрл...»

Но нет — вот она стоит перед ним, в новой шали, в городского покроя платье и жакете. Он ее еле узнал: будто Пэрл и не Пэрл... «Что она там говорит? Ага, объясняет, что никого из их колхоза на вокзале не нашла, попутной подводой, видно, той, что меня обогнала, — подумал Ной, — она добралась сюда, до поворота на Калинино, а отсюда надо как-то добираться домой. Она уже давненько стоит с вещами. И вот услышала — кто-то едет...»

— Откуда же ты сейчас, Ной?

«Иди рассказывай ей»...

Его постоянное недовольство женой, недовольство ее отъездом, приездом, тем, что, несмотря на все уловки, все же ему придется доставить ее домой, — все это накопилось, комом встало в горле, не передохнуть.

— Тут вот, — еле выдавил он из себя, — Березина на машине проезжала... Пусть бы... ты же из них, этих самых... Пусть бы она тебя и подвезла,

— Березина? — переспросила Пэрл. — Верно, со станции ехала. Если бы она меня увидела, конечно, подвезла бы.

Сказала она это просто, как что-то само собой разумеющееся. Именно эта простота и уверенность окончательно вывели Ноя из себя. Березина... Его она готова была растерзать... И за что? За то, что чуть не удушил колхозную дохлятину... Эта дохлятина для нее важнее, чем он, Ной. А Пэрл, о, ее бы она усадила в машину рядом с собой! Так пусть же она, Березина, ее и отвозит. Она, а не он, Ной. Он здесь ни при чем. Хватит! Не нужна ему жена, которая — все, в то время как он — ничего. Если ничего, так вот...

На передке телеги, там, где он уже было освободил местечко для Пэрл, Ной опять широко расселся и сильно хлестнул лошадей вожжами:

— Но-о!

— Стой!

Ной не успел глазом моргнуть, как эта сумасшедшая Пэрл оказалась впереди лошадей — они же могли ее растоптать! — и бесстрашно схватила их под уздцы.

— Стой, говорю тебе!

Такой он ее еще не видал. Шаль сползла с головы на плечи, темные волосы рассыпались вокруг побледневшего лица. Казалось, на этом лице остались одни глаза, и в них — синеватое, как горящий спирт, пламя. Она стояла перед ним совершенно иная, незнакомая, высокая — намного выше его... Он ее сейчас видел как будто впервые.

— Не убежишь, — говорила она, с трудом переводя дыхание. — Вот тут, сейчас, все между нами решится. Раз и навсегда. Или — или...

Не он, а она держала лошадей под уздцы, и Ной почувствовал: здесь, в этой предрассветной степи, жизнь обоих — его и ее — легла на чаши весов, и какая чаша перевесит, так оно и останется.

Он попытался перевесить в свою сторону.

— Мне жена нужна в доме, а не в колхозе. Хватит... Отдал лошадей, корову... С меня — хватит!

— Ной! Ной! — чуть ли не простонала Пэрл, и столько было в этом зове и боли и упрека, что он замолчал.

Перед глазами Пэрл в это мгновение пронеслась вся ее жизнь — с тех пор, как она, еще ребенком, мая-

лась в прислугах у Зхарьи... Замужество... Уход из дому и потом возвращение с полузамерзшим младенцем на руках. Годы безрадостного труда, издевательств и горя. Сколько горя! Затем колхоз. Она вступила в колхоз, стала там работать, и наступила совсем другая жизнь. Нелегкая жизнь — в колхозе свои трудности. И дома работы хватало. Но только теперь она себя впервые почувствовала человеком. Так неужели она от этого откажется, вернется к старому? Она знает — ему, Ною, обидно. Что обидно? Что она не такая, как он? Но разве ему кто-либо мешает тоже стать человеком! Его злит, почему люди ее уважают. Ну так что же? Почет ей дался не даром, она его заслужила трудом. А ведь Пэрл знает, что его сжигает, отчего он покоя не находит. Не удалось ему тогда стать вторым Зхарьей, вот он до сих пор и бесится. Он бы и сейчас не прочь стать Зхарьей, хотя времена таких зхарьев давно прошли. Все это она понимает, а он — нет. Как же ему втолковать?

Там, у моря, Пэрл впервые за многие годы имела достаточно свободного времени, чтобы подумать, поговорить с людьми. Многое в собственной жизни, в жизни других ей стало яснее. Приеду домой, — решила она, — и попытаюсь дать понять Ною то, что самой понятнее стало. Потому-то она сейчас схватила и так крепко держала лошадей под уздцы.

— Для тебя, — говорила она, — работа в колхозе повинность, для меня — радость. В этом — главная между нами разница. И эту радость ты у меня не отнимешь, слышишь? Не отдам я ее!

Она попыталась взглянуть ему в глаза. Он их еще ниже опустил. Нет, не в его сторону перевешивает чаша весов.

Ну, и не надо! Хвороба им всем!

— Пошел! — Ной бешено рванул вожжи на себя, поднимая буланых на дыбы.

Пэрл упала. С минуту, оглушенная, лежала на земле. Медленно поднялась, отряхнула платье, осмотрелась. На востоке край неба украсила узкая алая полоса, и оттуда, от этой полосы, резко потянуло холодом.

Посмотрев вперед, вдоль дороги, Пэрл еще успела заметить, как на удаляющейся телеге трясется голова Ноя. Телега все уменьшалась и уменьшалась, тарыхтела все слабее, слабее. Вот ее уже и совсем не слышно.

И вдруг Пэрл почувствовала, что всю ее, с ног до головы, охватило ощущение какой-то небывалой легкости. Словно громадная тяжесть, которая годами давила ее, постепенно сползала и вот, наконец, окончательно исчезла... Была — и нет ее! И стало легко, легко...

«Ноиха... Ноева Пэрл...» — прошептала она и светло, радостно улыбнулась бескрайней просыпающейся степи. Неужели так ее звали? Она еще сама себе не верит, но, кажется, с этим уже покончено. Сейчас она просто — Пэрл.

С белой плетеной корзиной в одной руке, с узелком потяжелее в другой Пэрл шагала туда, где в серой пелене тумана, уже еле заметная, спускалась в глубокий овраг Ноева телега.

ИОСИФ РАБИН



Иосиф Израйлевич Рабин родился в 1900 году в городе Гродно Белорусской ССР. В 1936—1938 годах жил и работал в Биробиджане.

Печататься начал в 1923 году. Всесоюзный читатель знаком с его романом «У Немана», повестью «Хавеле Гефен» и рядом других произведений. Иосиф Рабин — автор книг «Кузины», «Чем мы живем», «Дорога открыта», «Беженцы» и других.

Иосиф Рабин живет в Москве.

ЭШЕЛОНЫ ПРИХОДЯТ

Рассказ

1

Когда именно Биробиджан, словно глубокое чувство, запал ему в сердце и целиком захватил его, Нема Любич сейчас бы не смог сказать определенно. Может быть, это случилось в тот серый дождливый день, когда он бежал из гетто и ему казалось, что небо разваливается на куски, что вокруг все гнет, а земля захлебывается в собственной грязи.

А может быть, это было зимой, когда солнце, холодное, но торжественно-красивое, будто снятое с новогодней детской елки, опустилось в свежий искрящийся снег у дороги на Кенигсберг, где, раненный, упал сержант Любич.

Или же это вовсе произошло в тихой светлой палате госпиталя на Кавказе, где днем в окно было видно зеленую гору, а ночью — луну, да такую светлую и легкую, что ей, казалось, не на чем удержаться в голубом прозрачном воздухе и поэтому она вот-вот грохнется, разбудив всю округу звоном разбитых стекол. Там, в госпитале, у него была возможность обдумать и осознать все: и то, что произошло непосредственно с ним, и с его погибшей семьей, и с разрушенным домом. И все, о чем бы он ни думал, так или иначе вело в Биробиджан. Возможно, что ему вспомнился прадед, когда-то поехавший умирать в Палестину, или дядя, подавшийся в Америку на поиски «счастья», или племянница матери, оставшаяся в Швеции, или дальний родственник в Польше. Он в жизни никого из них не видел и даже не был уверен в том, а родственники ли они ему вообще, или просто соседи. Во всяком случае, представлял он их себе весьма смутно... но, даже и такое, оно не могло, это представление, доставить ему радость.

Как бы то ни было, но в беседе с шефами, приехавшими в госпиталь в гости, он на вопрос о том, куда поедет после выздоровления, немного помолчал, потом произнес таким тоном, словно бы ответ его был заранее

ясен всему миру, — такое, мол, может понять даже малое дитя, разумеется, он, Нема Любич, поедет... в Биробиджан.

От своего ответа он получил огромное удовлетворение, ибо получилось так:

В палате были одни выздоравливающие. Немцев победили. Из госпиталя поедут по домам. Было воскресенье и все ждали праздничного обеда. А вечером состоится концерт. В парке сидят больные и разговаривают с шефами. И в беседе всплывает вопрос:

— Вы выздоравливаете... Куда же вы поедете?

Один вопрос из многих прочих. Какого-то особого умысла в нем не было. Однако пословица говорит, что одно и то же солнце делает полотно белым, а тело — черным. Для одних этот вопрос не имел никакого значения, а для Любича он многое значил. Куда теперь ехать Любичу? К кому?

Ему отвечали:

— Куда? К себе. Домой. В Иваново.

— К себе. Домой. В Фергану! Красивый город. Зелень — повсюду. Посредине — канал. И хлопок уже отцвел.

Нема какое-то время молчал. Затем, с несколько удивленной горячностью произнес:

— Куда? Домой, туда... в Биробиджан!

Он настолько был доволен ответом, что даже собственный голос прозвучал для него как-то ново. Каждое слово было таким легким: «Куда? Туда! Домой... в Биробиджан!» И он сам даже не знает, как так случилось, что у него непроизвольно вырвалось:

— Да. Сплав по Бире наверняка уже прошел... Полноводная река!

2

Нема Любич никогда в жизни не был ни в Биробиджане, ни на Дальнем Востоке вообще. Тем не менее, за последнее время у него создалось довольно обстоятельное представление об Еврейской автономной области. Как-то он даже увидел во сне биробиджанскую улицу. Но сколько он во сне ни спрашивал, какая это улица: то ли Октябрьская, идущая к вокзалу, то ли Ленина, ведущая к обкому, он ни за что не мог уловить, хотя люди что-то ему отвечали.

Все бумаги его были оформлены в Биробиджан. Однако в последнюю минуту, уже сидя в вагоне, он, прежде чем уехать в Биробиджан, вдруг решил завернуть в белорусское местечко, что между реками Березина и Свислочь. Он еще не знал, то ли едет туда с кем-нибудь повидаться, то ли с кем-то попрощаться. Он поехал туда не затем, чтобы остаться, а еще раз убедиться в том, что в его документах записан действительно единственно верный адрес: Биробиджан.

Нема Любич вырос у воды — в одном местечке сразу две реки. Его отец, все дяди были плотовщиками и лозокрутами. С детства он любил плескаться в воде, а заодно приглядываться к тому, как отец и дядя сбрасывают в реку бревна со штабелей. Ловкие дяди, в закатанных выше колен штанах, стоя на бревнах, разъезжают, как на лодках, и составляют из них мосты. Затем лозокруты связывают вместе эти мосты и получается плот. Летним утром, едва луч солнца коснется прохладной воды, как плоты уже покойно и плавно уносятся течением реки. Нема берегом бежит за плотом. Плоты идут медленно и солидно, и Нема может долго бежать за ними. Но потом они исчезают. Неме обидно до боли. Он сам не понимает почему.

Затем Нема закончил семилетнюю школу и пошел учиться в лесной техникум.

Теперь он едет взглянуть на обе эти реки, возможно, что он еще увидит, как там гонят плоты. Он даже не в силах поведать о том, насколько ощущает, что обязан еще раз взглянуть, почувствовать и посмотреть на то, что там делается, и что остается просто попрощаться, ну, хоть попрощаться... Это он обязан! А потом: туда... в Биробиджан!

О том, чтобы отыскать там близких, он даже и не помышлял. И был несказанно поражен, когда негаданно увидел одного из своих дядей с дочерью лет двадцати.

— Немочка! — обнял его дядя. — Немочка, живой... Ты пришел. Слышишь, Нема, если есть еще дядя, и в живых остались парень и девушка, значит, быть жизни. Чтоб я так жил. Ты живой, Немочка, и вернулся... Чтоб я так жил.

Седоголовый дядя, с красноватыми отметинами в волосах, с заросшим крутым, но уже морщинистым натруженным затылком, и с блеклыми, застывшими, будто

засоленными губами, такие бывают у человека, всю свою жизнь проведшего на воде — этот дядя вовсе не хотел упускать его из своих рук. Еще час тому назад дядя был озабочен и недоволен тем, что за что он бы ни взялся и что ему надо, того нет. И наоборот, все, что у него есть, до обиды лишнее. Теперь у него словно бы выросла новая кожа, из глаз исчезла водянистость и они вернули себе былую голубизну. Он смахивал на избу, у которой в большие и красивые окна вставили новые чистые стекла.

— Нема... — от радости плакал дядя.

А дочь его ничего не могла сказать, ибо и у нее рыдания застряли в горле.

Но дядя, как видно, не мог удержаться и уже во второй раз повторил:

— Чтоб я так жил... Если есть еще парень и девушка, значит, будет жизнь. Ты вернулся, Нема...

— Вернулся, дядя, пришел попрощаться!

— Прощаться? Что ты говоришь?

— Да, дядя.

— Шутишь... что ли? С кем попрощаться?

— Со всеми.

— Со всеми? Ты куда-то собираешься?

Дядя встревожился. С него начало сходить праздничное настроение и, казалось, что лопаются в окнах вставленные стекла. Между тем, дочь его улыбнулась, но усмешка была до того горькой, что даже самый недогадливый человек и тот бы сообразил — так улыбается девушка, которой очень хочется плакать, но она стесняется. Оба они захотели узнать, куда он собрался?

— В Биробиджан!

— Так далеко? Аж в Биробиджан... Так далеко?

Дядя ощущает, что из рук его уплывает находка. Уплывает, словно заветная мечта. А дочь лишь сейчас по-настоящему усмехнулась. Потому что Нема, этот демобилизованный сержант, до войны бывший просто ее родственником, а теперь ставший не столько родней, сколько обычным парнем, сразу понравившийся ей, этот человек теперь пришелся ей по душе еще больше. Она довольна тем, что напротив нее стоит чернявый молодой человек, с беспокойными пытливыми глазами на загорелом лице. Ей кажется, что хоть глаза парня и не смотрят в ее сторону, взор его все равно натывается

на нее. Человек, который намеревается начать все сначала, куда-то собравшийся и готовый в любую минуту отправиться в путь... такой ей нравится. И наоборот, потому что это далеко, ей нравится еще больше.

— Дядя, непосредственно от Биробиджана это уже и не так далеко...

Девушка смеется. Ей нравится сама выходка.

— Даже так... — встревоженно говорит дядя, и голос его дрожит. — Не далеко... А зачем это едут туда?

Неме слегка уже жаль дядю. Что дядя хочет? Ему хочется, чтобы он, Нема, не поехал. Чтобы они были вместе. Ничего удивительного. Нема чувствует, что дядя с первого мгновения смотрит на него как на суженого зятя. Дочери он нравится. Это ясно. Девушка красивая. И потому, что он это чувствует и знает, на самых кончиках его ресниц появляется этакая удовлетворенно-лукавая усмешечка, и не то полусмех, не то полусерьезно ему хочется сказать: «Буду жениться». Но он не говорит это. Не говорит потому, что с ресниц уже упорхнула едва заметная лукавая усмешечка, и в умный беспокойный взгляд закралось неудовольствие. Шутка шуткой, но почему дядя задает ему тот же глупый вопрос, уже слышанный им от нескольких других евреев: «Зачем туда едут?» Еще лежа в госпитале, Нема злился на то, что такой вопрос вообще ставится. Именно там он обдумал на него много ответов.

Недовольство растет. Если бы он сказал, что пойдет в парк, дядя бы понял, что это прогулка. Сказал бы ему, что идет в баню, тот бы сообразил, что Нема будет мыться. Он бы все понял и не стал бы переспрашивать. Но если еврей говорит, что едет в Биробиджан, в Еврейскую автономную область, это до дяди не доходит и он переспрашивает: «Зачем туда едут?» Неужели так уж и непонятно, что еврей едет в Биробиджан затем, чтобы жить, работать, строить. Нет, так надо же, чтобы после всего того, что Нема пережил, передумал, выстрадал и осознал, явился дядя и спросил, зачем это он едет в Биробиджан. В эту минуту родной дядя вызывает в нем какое-то противоречие. Ему даже не хочется видеть его. И если он ему ответит, то выскажет что-нибудь до обиды злое, колючее, чтобы доставить ему досаду и боль. На дядин вопрос: «Зачем туда едут?» он ответил вызывающе:

— Чтобы жениться!

Нема уже пожалел, что заехал сюда. И действительно, что он здесь не видал? Что это за детская прихоть — поехать попрощаться. С кем? С чем? Все его бумаги на Биробиджан, а ему вдруг захотелось поглядеть, идут ли еще по Березине плоты. Наверняка идут. А как же иначе? Наверняка здесь работают, строят, живут. Ведь и тут Советский Союз.

И дядя Ара Любич переживает обиду. Конечно, встретить родственника — радость, повстречать родную кровь — праздник, но обо всем этом он мог бы узнать и из письма. Тогда он бы имел обычное удовлетворение, и даже радость, и ему незачем было бы низвергнуться с небес на землю. Ибо кто может знать, кто в силах представить себе, кто может сказать, — думал дядя, — что значит для человека остаться одному, совсем одному, словно бы полное местечко родни: братьев, сестер и детей, до сих пор было лишь пустым сном... И как следствие того, что когда-то что-то все же было, у него, как крупница, осталась дочь. И кто может понять и сказать, — думает дядя, — что значит встретить в таком случае сына родного брата. Таких слов даже нет. Когда он увидел Нему, ему показалось, будто снова вернулось все то, что погибло и было разрушено. Первое время ему все чудилось, что его жена прячется за спиной Немы, что она вот-вот выглянет и скажет:

— Ара, зови детей. Пора уже есть...

Он тогда от радости плакал. И все мысли, которые ему трудно привести в порядок, шли в одном направлении. У него красивая дочь, и вот появился симпатичный парень. И дяде становится жарко, очень жарко... Кто это может понять и кто может сказать... И вот тебе на! Приехал, чтобы убежать!

Поэтому у Ары имеются к племяннику претензии и вопросы. И вообще, так просто тому не пройдет.

Дочь, Ида, та и вовсе избегает Нему. Дочь досадует на Немин возглас: чтобы жениться! Ей кажется, что этим возгласом он дал им знать: «Я понимаю, что меня тут хотя бы оженить, но я этого не допущу». Она оскорблена тем, что он полагает, будто за ним гоняются и все их помыслы только о том, как бы им завладеть. Великое счастье — сержант... Он приехал проститься — чудесно. Он едет в Биробиджан — еще лучше. Но я вас

спрашиваю, зачем ему понадобилось так оскорбить меня. Это она никогда ему не простит. Она избегает его. Если он идет направо, она сворачивает налево. Если он в дом, она из дома. Она даже не желает видеть его глупое лицо.

Но как бы она его ни избегала, получается все-таки, что она всегда рядышком. И каждый раз ей приходится слышать вопросы отца и ответы сержанта. И каждый раз Иде хочется, чтобы отец оказался прав. И каждый раз выходит, что отец неправ. Вот она опять выскочила из дома, потому что он туда вошел. Отец пристаёт к нему с претензиями, и она слышит, как тот говорит:

— Послушайте, дядя, что я вам скажу...

— И что же ты мне скажешь, Нема...

— Скажу, что согласно конституции я приписан к Еврейской автономной области.

— Даже так... — произносит дядя, и Ида чувствует, что отцу нечем крыть и он остается при своем «Даже так...»

— Это вам, дядя, во-первых, — говорит Нема. — Ответьте мне, товарищ Ара Любич, откуда вы взяли, будто там ничего не сделано и поэтому надо несколько выждать. Давайте съездим и сделаем... Нет? Вы не желаете? Пусть кто-то поедет, а затем отобьет вам телеграмму: «Графу Ариелу Любичу и его дочери. Все готово, полы навощены, постель заправлена, вас ждут, вас будут носить на руках, спасите, выручите!» Разве такие, дядя Ара, все плотовщики и лозокруты? Я такое что-то не припомню. Вот это вам во-вторых. А в-третьих...

Ида готова послушать и это «в-третьих». «Во-первых» ей понравился. «Во-вторых» ей тоже понравился, и сержант тоже опять нравится. Ей лишь любопытно знать: вспомнит он ее при этом «в-третьих» или нет...

— Ну, и в-третьих? — спрашивает дядя. — И в-третьих... Язычок у тебя неплохо подвешен. И вся беда в том, что его можно слушать.

— А в-третьих, дядя, я скажу вам вот что. Правительство и государство считают, что евреи, точно так же, как и другие народы, имеют право на собственную государственность. Пройдет немного времени, подсчитают, а что, собственно, евреи сделали, построили, организовали и упорядочили в области. Вы, Ара, думаете, что не несете никакой ответственности за отчет, кото-

рый придется дать? А я думаю иначе. Если останутся недовольны, я буду виновен, вы будете виновны, и ваша дочь тоже... Стыдно будет глаза показать. Это вы понимаете?..

— Понимать-то я понимаю... — говорит дядя. — Конечно, я это понимаю...

Иду берет досада на отца. Тот, сержант, говорит каждой своей клеточкой, он горит, а отец, тот словно бы путается: «Даже так», «Понимать-то я понимаю». Нема молодец. И ее он снова вспомнил. И от того, что он существует, этот сержант, и от его ответов, и что упомянул ее, на сердце у Иды вновь посветлело...

— Ида, — крикнул отец, — ты бы дала стаканчик чая.

Ида совсем забыла, что избегает сержанта и сворачивает влево, если он идет направо. Забыла, что дала себе слово быть от него на целую версту. Она про это позабыла и выдала себя, что стояла у окна. И как всегда она выглядит, как только что умытая, легкая, пританцовывающая, с очень юркими и беспокойными движениями. Она смотрит на Нему и очень хочет, чтобы он это заметил.

— Чай готов, папа, готов!

4

Неделю Нема пробыл в своем местечке между реками Березина и Свислочь, а затем пустился в долгий путь в Биробиджан. Дядя с дочерью проводили его до поезда. Когда прощались, дядя поцеловал его и сказал то, что обычно произносится в подобных случаях:

— Будет желание, напиши письмо.

Дочь его была в более затруднительном положении. Целоваться с ним как с двоюродным братом — так, как во время встречи — она теперь уже не могла. Она удовлетворилась лишь тем, что подала ему руку и молчала.

Поезд тронулся. Кое-как повернулись колеса, и первое окно вагона проплыло мимо. Вот колеса начали двигаться быстрее, и мимо проплыло второе окно. Вагон прошел, на его подножке стоял проводник со свернутым флажком. В одном из окошек видна голова Немы. Вот мимо проплывает уже и второй вагон. Ида пошла рядом с Неминой головой в окошке. Сначала

она улыбалась, потом подняла руку и стала махать. А когда вагон был уже далековато, она что-то стала выкрикивать вслед Неминной голове. Но вдруг ей показалось, что голова вовсе не Немина, что он отошел и что в окне совсем не ее двоюродный брат, не сержант, не чернявый парень с загорелым лицом. Она спешит за вагонами, машет рукой, потому что не может не бежать и не махать. Лишь бы отец не заметил, что она еле держится на ногах.

Однако Ара Любич ничего не замечает. Он занят своими мыслями: парень не глупый, и, возможно, что он прав. Человек едет... Зря ведь не едут. Тянет, наоборот...

Поезд ушел, и дым его тоже истаял.

* * *

На вокзале в Минске Нема повстречал еврея, тоже едущего в Биробиджан. Сразу видно, что этот человек недавно демобилизован из армии. Помимо погон вся его одежда военная. К его рюкзаку привязан покрытый копотью котелок. Годы его определить нелегко. Оказывается, что он совсем не старый, хотя выглядит таковым. Он не успел еще снять пилотку, а Нема уже понял, что волосы у него причесаны под куцый ежик, что каждая волосина у него торчит отдельно, как бы сама по себе, и что они жесткие, неподдающиеся. Глаза у него серые, тихие. Тихие не потому, что в них нет огня, а оттого, что они не спешат рассказать каждому встречному, кто их хозяин, что он думает и чувствует. В целом у него вид человека, который не спешит, когда не надо, и не тратит даром энергию, ибо он уже повидал столько вокзалов, прошагал столькими дорогами, так далеко гнал немцев и так колошматил их, что абсолютно уверен в том, что и теперь он доберется, куда ему надо, и точно в указанное время.

Звали человека Сендер Ткач.

Когда Сендер Ткач заметил на минском вокзале Нему, его серые глаза тотчас же оживились, они зажглись, и он стал ходить за ним по пятам. Он приглядывался к Неме и, казалось, даже принюхивался к нему. В конце концов, проходя мимо, он заинтересовался: куда? А когда услышал, что в Биробиджан, он совсем распалился и заговорил по-еврейски.

— Я чувствовал, что и вы едете туда. Теперь я просто так от вас не отступлюсь. Хочется вам этого или нет. Вообще-то я люблю побыть один. — Но так как он, вероятно, какое-то время уже побыл один, он ухватился за Нему с одним желанием — поговорить. Наговориться за все то время, что молчал. — До войны у меня был отец, была мать, жена и дети. Во время войны у меня была своя рота... Но одному... Я такой человек, что истаю от тоски. Как вас зовут?

Спустя полчаса можно было подумать, что эти с рождения друзья, что они никогда в жизни не расставались и впредь тоже будут вместе. Они уже знали, что каждый взял в дорогу, и что надо еще прихватить, у кого сколько денег и пар белья, и чем будут заниматься в Биробиджане. С Немой все ясно — он закончил лесной техникум и вырос среди плотовщиков. Что же касается Сендера Ткача, то и он неплохой специалист, плотник.

— Хотя, если сказать правду, — доверился он Неме, — то мое желание... земля, в колхоз. «Свой колхоз» я как бы уже вижу на ладони. Однажды мне приснилось, будто я на трудодни получил столько добра, что оно не влезло в мой ранец и я был вынужден трамбовать его в котелок. Курке просо снится.

Путь из Минска до Москвы прошел весело. Оказалось, что так же, как и Нема, о Биробиджане думали и другие. «Значит, не один я такой, — думал Нема, — есть еще такие же».

На вокзале в Москве нашелся третий еврей, едущий в Биробиджан.

Этот человек сидел в углу зала ожидания. На скамье возле него лежала бумага с нарезанным хлебом, на другой — очищенный огурец, а чуть подалше — небольшая солонка с солью. С большой охоткой этот человек повдоль разрезал огурец, посыпал немного соли и потер обе половинки. Затем он спокойно, неторопливо, с той же охоткой принялся откусывать огурец и хлеб, огурец и хлеб, и жевать так, что за версту чувствовалось, какое необыкновенное удовольствие ему доставляет еда. Причем в руке он все время держал раскрытый ножик, хоть резать ему больше было нечего. Он ел с таким завидным аппетитом, что все окружающие были вынуждены развязать свои узелки и тоже приступить к трапезе.

— Вы тоже едете? Ну, такое наличие лучше, нежели вдвоем. Откуда?

Когда он узнал, кто они и откуда, он дал им соответствующие советы, а к концу сказал:

— Я такой еврей, который любит умное веселье. Будем надеяться, что у нас будет веселая доропа. В связи с этим у меня такой совет. Есть комитет, антифашистский еврейский комитет. Так туда надо зайти, там не надо даже никого расспрашивать. Следует только сказать, что мы едем в Биробиджан, тогда нас будут обо всем расспрашивать. Пусть там знают, пусть знают... что евреи едут в Биробиджан.

В первой же комнате еврейского антифашистского комитета, большой и уютной, было полно народу. На одной из двух больших и глубоких соф сидел человек, а вокруг него толпились другие. Все с интересом слушали рассказ этого человека. И все то, о чем он говорил, отражалось на его лице. На нем разливалась то радость, то печаль. Этот человек первый заметил двух вновь пришедших и сказал:

— Кажется, что это мои евреи.

Оказалось, что действительно его евреи. Он тотчас же к ним подскочил и усадил их на софу.

— Откуда?

Затем он стал расспрашивать их поодиночке, говорил сам и тоже давал советы. При этом лицо его сияло от счастья и радости.

— Скоро туда пойдут целые эшелоны. Как вас зовут?

— Нема Любич.

— Сендер Ткач.

Человек поднялся, положил руку на большой светлый лоб и произнес во весь голос:

— Какой шаг! Какое расстояние между Вениамином и Сендеркой до Немы Любича и Сендера Ткача. Такое дело. Другой мир — другие люди. Абсолютно другие. Феодализм и социализм! Тоже Нема и тоже Сендер...

Потом попрощались.

— Поезжайте поздорову, будьте счастливы. Ждите нас...

Уходя, Нема и Сендер спросили машинистку, кто этот человек.

— Вы не знаете? Михоэлс.

— Вот как?

Они взглянули друг на друга и молча вернулись.

— Не считите за дурное... И хоть мы попрощались, но раз вы Михоэлс, то мир вам.

5

Из Москвы они уже выехали втроем. Теперь уже Нему охватило желание знать, кто и что ждет его там, в Биробиджане, кто встретит. В эту минуту ему захотелось побыть одному, профантазировать будущее, обрисовать себе новую жизнь. Он залез на верхнюю полку и улегся лицом к стене. Пальцем, словно карандашом, он начал водить по стене, чертя всякие круги и треугольники, а глаза его наполнились мечтой и сновидениями.

Внизу сидели оба других и беседовали. Оказалось, что третьего зовут Юдл Гот, он каменщик из Бершади.

— Сам бог едет в Биробиджан*.

Жена и двое детей ждут в Бершади телеграмму из Биробиджана, — тогда выедут и они. Теперь он очень сожалеет, что не взял с собой семью.

Юдл Гот глянул на верхнюю полку и поинтересовался, не хочет ли Нема уснуть. Нет, Нема не хочет спать. Он хочет немного побыть наедине со своими мыслями, ему хочется подумать. Это дело Готу понравилось. Он понимает и уважает человека, у которого есть свои мысли и понимание.

— Этот парень мне нравится. Парень с характером.

И потому, что парень ему нравится, он ему завидует. Завидует потому, что тот может лежать себе на полке, и никто ему не нужен. Потом ему запала мысль, что этому Неме отчего-то тоскливо. Может быть, в эту минуту он вспоминает о том, что у него было и чего уже нет. Юдл Гот хочет его развлечь, втянуть в разговор, развеселить.

— Э-э, браток, одиноким в компании не бывают. Поэтому, друг Нема, слазь, и будем беседовать. Между тремя даже печальная байка не так уж и тосклива.

Нема слез с верхней полки и всем стало веселее, ибо оказалось, что Юдл Готу есть что порассказать,

* Игра слов. Гот — по-еврейски бог.

да и рассказывать он дока. Во-первых, они узнали, что с тех пор, как существует Советский Союз, он читает еврейскую газету. Во-вторых, он до войны побывал в Москве, пришел на майскую демонстрацию, чтобы пройти по Красной площади и увидеть Сталина. Теперь он встревожен тем, что жена его в Бершади беспокоится.

— Понимаете, из-за своей мнительности она наверняка не будет спать первую ночь, потому что ей придется мысль, будто я опоздал на поезд. Вторую ночь — потому, что я мог потерять билет. А третью ночь — из-за того, что меня могли обворовать, обобрать с головы до ног.

Юдл Гот обеспокоился еще больше.

— Биробиджан я воспринимаю не только как землю под ногами, но и как небо над головой. Я далеко заглядываю... Биробиджан — это как лекарство. Так почему же я еду один? Почему я оставил семью? Выходит, что я сам себе не верю. Целому народу выгодно, а себе самому... — Он поднялся и спросил: — Когда будет станция?

Юдл Гот молчал до самой станции. А как только поезд остановился, он тотчас же соскочил на платформу. Назад он вернулся успокоенный.

— Дал телеграмму... Пусть немедленно выезжают!

Так прошел день. На другой день тоже не было тоскливо.

А на третий или четвертый день на одной из станций в вагон сел молодой человек и сразу подбежал к окну. Его провожала девушка, припавшая к окну снаружи. Они пожимали друг другу руки, улыбались, обещали немедленно написать. Но вот поезд пошел, размахивая рукой, девушка побежала следом. Нема никак не мог оторваться от окна. Он даже позабыл, кому машет девушка. Не ему ли? Он начал кивать ей головой. Девушка что-то кричала, но что — Нема уже не слышал. О чем тогда кричала Ида? Он хотел бы теперь знать, что она хотела сказать ему перед отъездом? Он не знает. Однако что он об этом думает? Он залазит на верхнюю полку с тем, чтобы уяснить себе, что могла кричать ему Ида? Печаль охватывает его. Упрямец дядя, ему, видите ли, не нравится Биробиджан. А Иде?

Юдл Гот снова окликает его. Он хочет его развесе-

лить. Но сегодня Нема не слез, он так и уснул.

Дорога тянулась долго. Но в конце концов, когда казалось, уже объездили полсвета, что на самом деле было не больше, как только часть Советского Союза, Нема прибыл в Биробиджан.

Как только они вышли из вокзала, они с жадностью принялись за одно лишь дело — стали разглядывать людей, улицы, дома. Вот проехал автобус, машина, растут деревья.

— И почему я не взял с собой семью? — все корил себя Юдл Гот.

Неме чудилось, что он как бы парит в воздухе. Ему даже казалось, что улицы такие же, как тогда, во сне. Он позволил Юдл Готу вести себя за собой. Они побывали в горисполкоме. Завтра с ними обо всем поговорят, а пока им дали место переночевать, они сходили в баню, затем вздремнули.

Лишь теперь Нема пришел в себя. Он почувствовал красоту биробиджанской осени, всю тонкость биробиджанского вечера. Он шел улицей с одним желанием: все увидеть и все разглядеть. Куда-то шли люди, и он пошел за ними. Он вышел к реке. На берегу лежали бревна. Он присел на бревно. Под ногами шебуршали камушки. Течение было шумливым. И вместе с течением несло древесину, которую километрах в десяти отсюда плотовщики кидали в воду. Вода несла бревна к лесозаводу. Нема разглядывал воду, бревна и лес, виднеющийся вдаль на другом берегу реки. Он спрашивал себя: где я? У Березины или у Биры?

Вечер был с красноватым закатом, красящим облачка в розоватый цвет, отчего они смахивают на парадные мраморные ступени, ведущие в небо. На берегу было тихо. Он глядит на картины, знакомые с детства. Вот как бы ныряет бревно, и высовывающийся из воды конец его похож на руку, призывающую на помощь. А вот бревно встало поперек, и все остальные ударяют его, бьют, толкают и гонят. Вода вокруг шумит, брызгает, бурлит. А вот очень тихо плывет топляк. Он плывет под водой, а сверху виден лишь плохо обрубленный сук. И, как бывало в детстве, Неме хочется подобрать острый гладкий камушек, низко наклониться к берегу, прикрыть один глаз и пустить его по воде так, чтоб он раз пять чиркнул поверхность реки. Он так и сделал, и был очень этим доволен.

Между тем вечер крутел, и от заката осталась одна лишь яркая нить. Внезапно Нему как будто что-то подняло с места. Из-за сопки показалась луна. Большая, легкая, светлая. И оказалось, что луна ему тоже знакома, она такая же, как та, что над горами Кавказа... Ему захотелось крикнуть ей, как старой знакомой, поздороваться. Он ощутил такие слова, которые хотел бы кому-нибудь сказать: одна земля, одна вода, одна луна, один Дом. Вот если на берегу сейчас бы появился отец с дядями...

Из парка послышалась музыка. Сквозь ветви деревьев видны были десятки электрических огней. Нема не спеша пошагал в парк. Ему захотелось увидеть людей, с кем-нибудь заговорить, рассказать, как хорошо сейчас у него на душе. Чем дальше, тем больше светлело, и вот он вышел на большую площадку у эстрады. Повсюду он увидел людей — пожилых, молодых, детей. Сейчас он оглядится, затем подойдет к кому-нибудь и скажет хоть пару слов. В конце концов все равно кому. Для него тут все родные.

* * *

Прошло время. Житель Биробиджана Нема Любич шел с работы. Его догнали Юдл Гот со своей женой и Сендер Ткач.

— Нема, прибывает эшелон переселенцев. Пойдем, встретим?

Нема подумал, а не может ли когда-нибудь приехать и дядя с Идой...

Все заторопились к вокзалу. Но они, очевидно, уже слегка опоздали. Ибо подходя к привокзальной площади, еще издали услышали, что оркестр уже играет веселую встречу.



Григорий Борисович Рабинков (1908—1981) родился в местечке Со-
сница, на Украине. Закончил лите-
ратурный факультет Московского
педагогического института. С нача-
ла тридцатых годов постоянно жил
и работал в Биробиджане.

Григорий Рабинков начал пече-
таться в 1928 году. Он автор книги
«Земляки», многих новелл, расска-
зов, очерков.

ПИСЬМО

Рассказ

...Летом непременно приеду к вам — соскучилась уже по городской улице, по неоновым фонарям, даже по автобусной давке. Но главное, хочу заказать в ателье (первой категории) несколько нарядных платьев и купить пару лакированных лодочек. Это — обязательно к началу учебного года.

Вижу твою ухмылочку: лакированные туфельки... Только их и не хватает ей в той дыре! И почему обязательно к началу учебного года? Тебе известно, что после института меня направили в Новоявленский район — один из самых отдаленных в нашем крае. Признаться, поехала туда без особого воодушевления и прибыла к месту назначения уже после августовских учительских конференций...

Вместе со мной с теплохода сошел еще один молодой учитель — лохматый парень лет двадцати четырех или двадцати пяти, физик из Иркутского университета, для мужчины — довольно-таки рослый и плечистый. Одет он был в коричневую вязаную безрукавку и лиловые джинсы. Лицо круглое, загорелое, как после многодневного туристического похода. Глаза небольшие, иссиня-черные, глаза уверенного в себе упряма. Не красавец, но ничего. Симпатичный малый!

Заврайоно, молодая нанайка с умными глазами, встретила физика, словно долгожданного родича; понимающе кивала головой, как бы объясняя его опоздание: «Конечно, конечно, к нам добратся! Вас, — мило улыбалась она, — разумеется, оставим здесь, в школе-интернате...»

Со мной же дело обстояло менее утешительно: историков и литераторов в районе предостаточно. Итак, я еду в рыбацкое село, называется оно Близкое, видимо, потому, что село это недалеко от райцентра — всего полтора дня пути вниз по Амуру. Добираются туда на катере, что два раза в неделю возит почту, или на моторной лодке...

Заметив мой подавленный вид, заврайоно принялась меня утешать, подбадривать:

— Село большое. Есть молодежь. Большой клуб...
«Да, да, — уныло думала я, — большой клуб...»

В ту минуту я позавидовала этому физика, сидевшему рядом, как мне казалось, с самодовольной физиономией. Ему-то во всяком случае лучше! Вдруг я услышала его басок:

— А физики там часом не требуются?

— Физики всегда требуются, — ответила заврайоно.

— Так пошлите и меня в это село.

Заврайоно подняла на него глаза и тут же с любопытством перевела их на меня. Наверное, у нее мелькнула та же самая мысль, что и у тебя... Я почувствовала, что густо покраснела, и очень разозлилась:

— Товарищ, — язвительно проговорила я, — романтик. Товарищ желает быть там, где трудней.

Физик спокойно посмотрел на меня поверх своих квадратных очков и довольно мирно улыбнулся:

— Вы правы. Трудностей я не боюсь. Но, — добавил он, — у меня свои соображения.

Заврайоно метнула на меня еле заметную лукавую улыбку:

— Что ж, так и быть: уважим вашу просьбу.

У меня отлегло от сердца. Как бы то ни было, а в тот медвежий угол поеду не одна.

Катерок отправлялся через два дня. Я ничего не имела против того, чтобы провести их в уютном благоустроенном райцентре Новоявленское, но физик уперся да и все — и так опоздали! Доберемся как-нибудь на моторке.

— Попутного вам ветра, — сказала заврайоно, — не утопите в Амуре историка!

Физик заверил ее, что навигации подобного рода он совершал по Байкалу и по Енисею. Похоже было, что и для заврайоно такой вид транспорта — дело обыденное.

Физик снял безрукавку, расстегнул ворот рубашки, засучил рукава и сразу стал похож на коренастого рабочего парня или на молодого рыбака, собирающегося на путину. Глядя на его коричнево загоревшую шею, на крепкие мускулистые плечи, я подумала, что с таким попутчиком не пропадешь ни в тайге, ни на реке.

В тех северных местах в конце августа уже довольно прохладно. По ночам бывают крепкие заморозки. Но нам повезло. Дни стояли тихие, солнечные, какие бывают лишь на стыке лета и осени. Мы пустились в путь. Мимо нас проносились обрывистые берега с ле-

систыми горными кряжами. С головокружительной высоты на нас глядели лиственницы, облитые осенним золотом. Физик, сидевший у мотора, вдруг ни к селу ни к городу протяжно запел: «Славное море, священный Байкал»... Меня охватило какое-то бесшабашное веселье. Хорошо жить на свете, даже когда едешь учительствовать в такую глухомань, как село Близкое!

До поздних сумерек неслась наша посудина по волнам, оставляя за кормой бурлящие пенные холмики. Ночь здесь наступает мгновенно. Только что на краю неба стоял огромный багрово-красный шар, а вот уже густая тьма. Мы причалили к отлогому берегу. Физик с ходу взялся собирать сухой валежник и сноровисто разжег костер. Мгла кругом сделалась гуще. С одной стороны нас обступала стеной ночная мгла, полная пугающих шорохов и звуков, с другой — необъятная река в непроницаемом тумане, и мы одни-одинешеньки во всем этом жутком мире! Я расканивалась уже, что согласилась на такое путешествие.

— Еще какой-нибудь зверь забредет в гости! — канючила я.

Возясь у костра, физик невозмутимо ответил:

— Не исключено.

— И тогда что?

— Тогда будет плохо.

Наши глаза встретились, и мы оба расхохотались. «А парень ничего!» — подумала я. Страхи мои постепенно стали улетучиваться. Вел себя физик безукоризненно. Никаких донжуанских поползновений. С обеих сторон костра он смастерил лежа из лапника. Мы легли на пружинящий елошник, остро и свежо пахнувший осенью, и всю ночь проговорили.

— Послушайте, — приставала я к нему, — вы, молодой здоровый мужчина, едете в такую глушь учителем. Не могли выбрать профессии повеселей?

— Учитель, — сказал он, — не профессия.

— А что же?

— Призвание.

— И вы верите, что это ваше истинное призвание?

— Видите ли, любое искусство — езда в незнаемое. В школе увидим.

«Увидишь, увидишь! — хотелось мне крикнуть ему, — увидишь, когда попадешь к сорванцам из пятого или шестого класса, а они у тебя будут ходить на головах!»

Из дальнейшего разговора я узнала, что в Близкое он вызвался поехать потому, что там он будет иметь больше возможностей проводить свои педагогические идеи и эксперименты... Я с улыбкой взглянула на него: балагур? Но — нет. Это он вполне серьезно. Повернув ко мне лицо и опершись на локоть, он изрекал:

— В школе должны работать те, кто призван к этой высокой миссии, люди, которые не мыслят своей жизни вне школы. — Себя, по-видимому, он причислял к категории «призванных». Одним словом, на елошнике у костра возлежал будущий Макаренко или Сухомлинский!

— Творчество учителя, — продолжал он, — высокое искусство. А идти в искусство без таланта нельзя. Учитель обязан быть талантом! Всю жизнь отдай и сделай из себя талант. Или же уходи!

Последние слова он произнес со злой одержимостью, будто видел перед собой того бездарного человека, что пошел в педагоги не по призванию.

Ночью физик несколько раз поднимался и подбрасывал в костер ветки и шишки. Костер стрелял во все стороны крупными искрами. Одна из них безжалостно прожгла рукав моей единственной вязаной кофточки. К утру мы все же немного вздремнули. Разбудил нас предрассветный студеный ветерок. Остатки костра чуть тлели под пеплом. Тайга была окутана редющей мглой. Над рекой висел тяжелый, насыщенный влагой туман. Наше суденышко оказалось отделенным от берега значительной полосой воды. Физик, закусив губу, постоял, вглядываясь в скрытую туманом даль, затем снял кеды, засучил штанины выше голеней и не успела я оглянуться — подхватил меня своими ручищами и перенес в лодку.

К трем часам дня мы, два Робинзона, пришвартовались к каменному пирсу у берега, на котором вотуже скоро сто лет расположено рыбацкое село Близкое. Селение, должна тебе сказать, живописное. Добротные домишки из золотистого кедрача. Чистенькие ухоженные дворики поднимаются от самого берега до крутых склонов заросших кедром сопок.

Встретили нас хорошо, особенно физика. Правда, учительница истории, чернявая женщина лет под сорок в цветастом сарафане, как мне показалось, была не особенно в восторге от моего приезда. Первые дни меня смущали бесцеремонные оценивающие взгляды учи-

тельниц (мужчин в нашем коллективе раз, два и обчелся), их перешептывания. Физик же сразу почувствовал себя как рыба в воде. Видно было: человек попал в свою стихию.

Характер у него оказался довольно ершистый. Буквально на следующий же день у него произошло столкновение с завхозом из-за кабинета физики:

— Полы покрашены халтурно, — возмущался он. — А бордюры — безвкусица.

Завхоз, маленькая, очень подвижная женщина с острым язычком, твердила, что школа «сдана под лак и краску». Семену Петровичу (директору) нравится, учителям нашим нравится, а этот в школе без году два или три часа, а ему, вишь, не угодили!.. Кончилось тем, что физик, махнув рукой, потребовал краску, малярную кисть, и сам взялся за дело.

Мы с учительницей истории в то время сидели в одном из классов и составляли календарные планы. Моя коллега все старалась выведать, что заставило меня поехать в такую даль. Неужели не было никакой возможности устроиться в каком-нибудь городе? Для молодых учительниц какие здесь перспективы? Понемногу она проговорилась, что мой приезд расстроил ее планы. Она собиралась вызвать сюда родственницу, тоже учительницу истории — ей два года до пенсии.

Она осведомилась, не жених ли физик. «Не знаю, — сказала я, — возможно, и жених». Не мой ли жених? Нет. В таком случае можно сказать, что думаешь? Разумеется. Ну, так вот: молодой, а уже любому старому подхалиму фору даст! С первого дня так и лезет из кожи — понравиться директору... Сам, видите ли, взялся за покраску. А нашему директору только того и надо!..

— Не думаю, что он подхалим, — сказала я.

То, что он не ошибся в выборе профессии, для меня стало ясно уже с первых дней. Учитель может проработать в школе всю жизнь, быть вооруженным до зубов всеми передовыми педагогическими теориями, применять самую изощренную педагогическую «стратегию и тактику», и после всех усилий — добиться весьма скромных результатов. А рядом с ним другой учитель действует вроде бы и без каких-либо ухищрений. Он сам не сознает своей силы (а может быть, сознает!). Но то, что первый достигает ценой напряженного труда, второму дается как бы само собой. Моцарт и Сальери!

...На четвертый или пятый день нашего прибытия мы с учительницей истории встретили физика с группой старшеклассников. Они шли к Амуру. Ты бы посмотрела, как завидно просто, как хорошо держался он с ними! С каким увлечением и интересом слушали его ребята. Моя коллега бросила в его сторону осуждающий взгляд:

— Видали? Учебный год еще не начался, а этот уже «проводит работу», завоевывает авторитет...

Тут она вспомнила педсовет, на котором распределяли классное руководство. Учителя много говорили о трудном шестом «б» классе. Физик молча слушал, затем выступил и попросил дать этот класс ему.

— Он еще не знает, — говорила она, — что это за «хлеб»!

Первое сентября физик таки выкинул «коленце»: появился в школе в новеньком черном, тщательно отглаженном костюме, в белоснежной сорочке с черной артистической бабочкой, в сверкающих лакированных туфлях. Не спрашивай! Учителя наши были шокированы. Моя коллега сумела только в сердцах выговорить: «Ну и пижон». Завхоз хихикнула в кулак: «Жених!» И нужен был характер Виталия, то есть физика, чтобы не почувствовать себя нелепо, когда учительница истории заметила ему, что в таком наряде он больше походит на дирижера симфонического оркестра или на певца, а никак не на учителя!

Оглядывая будничное суконное платье учительницы, физик вежливо возразил:

— Ошибаетесь, уважаемая. Именно так должен являться учитель перед учениками в классе. Или, по-вашему, учитель чем-то ниже дирижера и певца?

— Не знаю — выше или ниже, — иронически сказала учительница, — но это — разный коленкор. Мы — простые смертные.

Через несколько дней физик выкинул новое «коленце»: во время одной из переменок завуч (женщина умная и приятная) обратилась к нему с каким-то поручением. Физик рассеянно посмотрел на нее поверх очков и попросил с такими делами обращаться к нему после уроков, ибо, объяснил он, все, что не имеет прямого отношения к уроку, выбивает его из творческого состояния... Стоявшая рядом учительница истории слегка толкнула меня;

— Творческое состояние! — покачала она головой. — Строит из себя что-то. Ошибся, миленький, дверью!

Завуч немного помолчала, задумчиво повела бровью:

— А может, и не ошибся...

В том, что он «не ошибся», я все больше убеждалась с каждым днем. Как раз к нам тогда нагрянула комиссия из крайоно — все старые зубры, методисты. От таких пощады не жди. Трудная пора наступила в школе. Моя коллега лишилась сна и аппетита.

— История тебе не математика, — говорила она. — Тут каждый знаток. Все пойдут к нам с тобой на уроки.

Я тоже изрядно поволновалась, хотя у меня обошлось сравнительно благополучно. Даже слегка похвалили. Что касается физика, то посмотрела бы ты, как свободно, с каким завидным достоинством вел он себя с инспекторами, словно был не рядовой, начинающий учитель, а равный им. А после того, как побывали у него на нескольких уроках, глава комиссии, тоже физик, седой мужчина, суровый молчальник, из тех, что не знаешь, какой камень припрятан у него за пазухой, стал широко и приветливо улыбаться ему.

У учительницы истории посетили всего-навсего четыре урока, и я видела, как после каждого посещения у нее судорожно дрожали губы, а на виске нервно пульсировала голубая жилка. Физик тоже выходил из класса чуть-чуть взволнованный, но это была совершенно другая взволнованность. По оживленным лицам проверяющих видно было: урок прошел с блеском!

Присматриваясь к работе Виталия, я часто стала задумываться над тем, что такое призвание учителя. Вот один и тот же седьмой класс. Обыкновенные ребята. Но когда наша словесница (кстати, с отличием окончившая филфак Дальневосточного университета) вспоминает, что у нее там уроки, ей, по собственному ее признанию, становится мутно. В классе она кричит на ребят, угрожает вызвать к директору, к завучу, выставить из класса. Дисциплина никудышняя. Двойки. Вечные слезы на педсоветах... На следующий урок туда идет физик, идет, как на праздник, словно его ждет нечто в высшей степени радостное, важное, неизведанное. Правда, и он не всегда выходит из класса вполне удовлетворенным. Что-то, по его мнению, на уроке не совсем удалось. И тогда он смотрит на вас нахмуренным отсутствующим взглядом. Должно

быть, мысленно анализирует допущенный просчет.

После физика иду в класс я. Меня ты-то хорошо знаешь. Могу так «выразительно глянуть»... Словом, ребята меня побаиваются. Зато все сорок пять минут приходится быть начеку, и от этого у меня бывает горько на душе. Не могу пожаловаться, что ребята меня плохо слушают (готовлюсь к урокам до одурения), но редко бываю довольна собой. Мне не дают покоя слова физика тогда ночью у костра: «Учитель обязан быть талантом!» Обязан быть!.. Во всяком случае, я готова отдать жизнь за то, чтоб «сделать талант» (если вообще можно «сделать» талант!), или же... уйду.

Но какое отношение имеют эти рассуждения, эти высокие материи к новым платьям и лакированным туфлям, которые я обязательно должна буду иметь к началу нового учебного года? Как я уже писала, увидев «дебют» физика в день первого сентября — парадный черный костюм, белую сорочку, черную артистическую бабочку и лакированные туфли — учителя были шокированы. Я бы не сказала, что они сами плохо одеваются — зарплата здесь у нас очень приличная, — но как-то буднично, что ли. И вот, представь себе, в один прекрасный день директор школы вдруг появился в школе в новеньком ратиновом пальто, на шее цветной мохеровый шарф. Из своего кабинета он вышел в добротном твидовом костюме и тоже в белой сорочке с черной бабочкой, в лакированных туфлях — и сразу обрел столичный вид. Этаким рослый светлый-светлый блондин, голубоглазый красавец, чем-то похожий на портрет Назыма Хикмета, который, помнишь, висел в нашей комнате в общежитии. А через несколько дней мы видели в учительской, кого, думаешь? Мою коллегу, учительницу истории, в прекрасно сшитом шерстяном светло-сером платье и в лодочках на модном каблучке. Высокий, черный, как воронье крыло, шиньон делал ее как бы выше ростом, а смущенная улыбочка, с которой она вошла в учительскую, придала ее чернявому лицу выражение приветливости и даже доброты...

...Теперь, с легкой руки физика, все наши учителя приходят в школу в своих лучших нарядах. Сразу стало заметно, что в нашем коллективе — целый цветник молодых хорошеньких учительниц.

Теперь ты поняла, в чем дело?

РОМАН ШОЙХЕТ



Роман Самойлович Шойхет родился в 1931 году в селе Ефингарь Баштанского района Николаевской области, УССР. С 1948 года живет и работает в Еврейской автономной области.

Печататься начал в 1961 году. Публиковался в областных и краевых газетах, журналах «Дальний Восток» и «Советиш геймланд», в альманахах и коллективных сборниках, автор повестей «Родная земля» и «Хлеборобы», изданных отдельными книгами. Член Союза писателей СССР.

ЕДИНОЖДЫ И НАВСЕГДА

Рассказ

Был полдень. Тот самый час знойного дня конца июня, когда земля струится водянистым маревом, и жаром пышет не только солнце, но и небо — мглистое, бесцветное, разморенное.

День был воскресный. Центр города, обычно оживленный, в тот час пустовал. Лишь у лотков, основательно пристроившихся у кинотеатра и гастронома, нудились люди, терпеливо выстаивая очередь за мороженым и газводой.

Меня и Виктора Петровича немилосердная жара также загнала в дальний угол сквера, под куцую тень амурского бархата. Мой собеседник уже пожилой, ему под шестьдесят. Он высок ростом и от этого немного сутулится. Даже когда сидит. Бывший майор, инвалид войны, а теперь инженер отдела сбыта завода сельскохозяйственного машиностроения, очень занятный рассказчик. Ему, много повидавшему и пережившему на своем веку, есть о чем поведать. По работе своей Виктор Петрович часто и подолгу бывает в командировках, и мы с ним редко видимся. А когда встречаемся, я с неизменным интересом слушаю не только его воспоминания о былых сражениях и подчас оригинальные суждения о сути человеческого бытия, но и свежие впечатления, привезенные им из очередной командировки. Мы всегда много и охотно разговариваем. Точнее сказать, я больше слушаю. Но в этот раз, когда изнуряющий зной, обволакивая, проник во все поры тела, нам не то чтобы говорить, языком и то лень пошевелить было.

— Эх, сейчас бы окунуться в Бирю! — когда от духоты стало совсем уже невмоготу, мечтательно выдохнул я.

На мгновение в моих глазах начали переливаться быстрые воды нашей реки, даже об эту пору несущие ломкую стылость горных ключей, и я опять произвольно вздохнул.

— Чудак ты, Семен. Тебе ли, молодому и здорово-

му, плакаться! Сбегай к речке да искупайся. Это мне заказано, — невесело усмехнулся Виктор Петрович.

Он чуть сощурил большие, умные серые глаза и крепким ногтем постукал по протезу ноги. Тот отозвался глухо, деревянно.

— Может быть, в другое время и я рискнул бы окунуться в реку, — сказал он. — Но теперь не могу. Что-то стал побаливать мой огрызок.

— Не на погоду ли?

— Не похоже. Скорее, стар стал, вот раны и напоминают об этом.

Уже случалось, что, упоминая о боевых ранениях, Виктор Петрович незаметно переключался на рассказы о том далеком времени. И я каждый раз узнавал о каком-либо новом эпизоде минувшей войны. Но теперь он почему-то молчал. Не вспоминал фронтовых друзей, не рассказывал о последней командировке. И, кажется, дело тут было вовсе не в зное. Заметно сутулясь, Виктор Петрович сидел как-то отрешенно, весь уйдя в себя. Только пальцы рук его, узловатые и цепкие, крест-накрест лежавшие на набалдашнике трости и словно бы жившие независимо от хозяина, ритмично выстукивали дробь. Так он сидел долго. Но вдруг в нем будто сработала невидимая пружина. Он всем корпусом подался вперед, чисто выбритое смуглое лицо его напряглось и побледнело, а пальцы как бы припаялись к набалдашнику.

Я проследил за пристальным взглядом Виктора Петровича и понял причину произошедшей с ним мгновенной метаморфозы. Поводом тому была молодая женщина с детской коляской, показавшаяся в начале аллеи.

Ничего предосудительного в любовании моего пожилого собеседника хорошенькой юной женщиной я не видел. Стройная длинноногая молодая мать и на самом деле была прелестна. Хороша той гармоничной и здоровой красотой, которая выгодно отличает большинство современных девушек, счастливых тем, что они не знают вкуса жмыха и похлебки из лебеды и крапивы, не ведают кровянистых волдырей от кирзовых сапог. Нынешними девушками можно восторгаться. Ими и восхищаются: и молодые, и пожилые.

Не подозревая о том, что ею любят, женщина с гордо поднятой пышноволосой головой равнодушно прокатила мимо нас свою коляску и направилась к

свободной поодаль скамье, на которую тоже падала скупая тень тополя. Склонясь к коляске, она там что-то поправила, достала книгу и, оседлав прямой изящный носик круглыми темными очками, опустилась на скамью.

— Послушай, Семен, — оторвав взгляд от молодой мамыши, Виктор Петрович вдруг повернулся ко мне. — Послушай, у тебя бывало такое состояние, точнее — даже ощущение, когда внезапно как бы смещаются место, расстояние, время?

— Я не совсем понимаю... Хотя, если взять сновидения, то...

— Черт знает что такое, — совсем не слушая меня, тихо говорил Виктор Петрович, страдальчески кривя слегка поблекшие полные губы. — Прошло уже так много лет, но стоит мне увидеть высокую блондинку, такую, как вон та юная мать, и мне тут же начинает мерещиться, что это она...

— О ком вы говорите, Виктор Петрович?

Он коротко взглянул на меня и ничего не ответил. Больше того, я был абсолютно уверен, что, поглядев на меня, он меня не увидел. Вероятно, его воспоминания, ассоциировавшиеся с какой-то симпатичной блондинкой, были или слишком тягостны Виктору Петровичу, или тому имелись другие причины, знать которые постороннему человеку было ни к чему. Во всяком случае, он надолго умолк, а когда снова заговорил, то без явного желания распространяться.

— А-а, об этой женщине... Об этом долго рассказывать. Да, пожалуй, и не стоит.

Вспоминая о войне, Виктор Петрович почти никогда не говорил о себе. Теперь же по всему чувствовалось, что назревает именно такой рассказ. Требовалось только терпение. Обычно, слушая Виктора Петровича, я каждый раз приходил к мысли, что о войне вообще сказано далеко еще не все. Ведь то страшное лихолетье только у нас унесло двадцать миллионов человеческих жизней. А это двадцать миллионов трагедий, о которых надо говорить и писать. Я терпеливо ждал, предчувствуя, что мне вот-вот откроется одна из таких трагедий. И был вознагражден. Вот что рассказал Виктор Петрович.

— Значит, речку побоку, а? Занимательной истории

ждешь? — закулив, усмехнулся он. — Ну-ну, любопытная Варвара... Ладно уж, расскажу. Так вот, было это в войну. Примерно за месяц до битвы на Курской дуге. В то лето я проходил военные науки в Самаркандском пехотном училище, и был у меня близкий друг Миша Крушинский. Мда-а... Однажды, то ли пятого июня, то ли седьмого, я уж точно не помню, да это и не суть важно, нам вдруг досрочно повесили погоны. Ну, время-то сам знаешь какое было. Разумеется, мы тоже сразу же сообразили — если нам раньше положенного присвоили офицерские звания, значит, высшее командование где-то что-то готовит и, стало быть, предстоит скорая дорога — на фронт. Так на самом деле и вышло. Десятого июня, этот день я запомнил точно, мы, первая группа из шести новоиспеченных лейтенантов с нашим преподавателем тактики майором Старосельцевым за старшего, покинули Самарканд. Мы получили назначение в маршевый батальон, формировавшийся в городе Кзыл-Орде, и уже оттуда, командирами взводов, должны были прямиком отправиться на фронт. Мда-а...

От самой Чиили, небольшой степной станции, эшелон шел не останавливаясь, не сбавляя скорости. Дверь теплушки, в которой мы находились, была раскрыта, отодвинута до самого упора и, представляешь, внутри ее все же нечем было дышать. Вокруг нас буквально все: и разошедшиеся дощатые стенки вагона, и железные листы кровли, и даже завихряющийся поток встречного воздуха, пахнувшего то горечью разомлевшей полыни, то пресноватым душком отработанного пара и жженого угля, вот как сегодня, ну прямо источало жар.

Навалясь на струганый брус-перекладину, мы с Мишей Крушинским и Жансултаном Мукашевым все время стояли у двери и неотрывно глядели на степь, широкую и безмолвную, как в первозданные времена. Смотрели на серовато-бурый простор, перекипавший в мгlistом полуденном зное. Лишь вдали, у едва различимого горизонта, словно бы придавленная разморенным небом, вилась голубоватая полоска каких-то зарослей. Знаешь, любопытно все же глядеть на проплывающую мимо землю. Она как бы находится в двух измерениях. Вот и тогда реденькие кусты сакоаула, что росли подальше в степи, как бы состязались с эшелонм наперегонки. Они все спешили вперед, а те кусты, что мостились у железнодорожной насыпи, вместе с те-

леграфными столбами и километровыми указателями бешено убегали назад.

Мы молча созерцали степь. Помнится, ко мне тогда на какое-то время даже вернулось позабытое чувство успокоения. Такое со мной случалось и раньше, каждый раз, когда я один на один соприкасался со степью. Необъятное раздолье с малых лет покорило меня своим величием, буйным половодьем трав, оглушающей тишиной. Летними днями я мог часами лежать в траве и глядеть, как по небу медленно плывут громады облаков. Мне тогда казалось, что я абсолютно один во всем том огромном пространстве, но почему-то оно никогда не пугало меня. Наверное, потому, что я чувствовал себя частицей мироздания и, стало быть, считал и себя неуязвимым и вечным.

В таком же состоянии, очевидно, тогда находился и Миша Крушинский, тоже степняк, родом откуда-то из-под Херсона. Он стоял не шелохнувшись и только изредка пошевеливал яркими полными губами, словно бы смакуя привычный аромат степных просторов, пронизанный терпким привкусом полыни.

Пружина, покачивался вагон. Приглушенно постукивали колеса. Из-под пальцев долговязого Юры Соболева, развалившегося на нарах, рвался рокот гитары. Спеленутые проводами, мелькали телеграфные столбы, кренясь острым крылом, в линиялом небе плавно кружил коршун.

Задумчиво шуря серые, слегка навывкате глаза, Миша неотрывно следил за парящей птицей. Вдруг повернув ко мне лицо, смуглое, с жаркими плитами румянца на округлых скулах и дрожащими ноздрями небольшого с горбинкой носа, он кивнул в подернутую дымкой даль:

— Видишь во-он ту синюю полоску? Это камыши. Там река Сырдарья и аул Акбеит. Там мама...

Я взглянул. Только не на далекие камыши, а на Мишу, затем на небо. К этой минуте коршун взмыл уже на такую высоту, что его с трудом было разглядеть. Но я смотрел на порой исчезающую точку, догадываясь, о чем думал Миша. В тот миг он наверняка всей душой завидовал вольной птице...

— Надо было послать телеграмму, — наивно сказал я. — Мать встретила бы.

В ответ Миша только усмехнулся.

Эшелон подошел к Кзыл-Орде часа через два после

полудня. Колеса вагонов по-прежнему еще частили. Но их железный перестук, до этого скрадываемый степным простором, теперь, натолкнувшись на строения городских предместий, стал таким плотным и грохочущим, что даже непосвященный мог догадаться — впереди остановка.

Как только эшелон замер, мы с Мишей, подхватив наши тощие вещмешки, первыми соскочили на высветленную зноем гравийную платформу.

— Вот и Кыл-Орда, — оглядываясь, расправляя гимнастерку под туго затянутым ремнем, сказал Миша и взял меня под руку. — Витя, ты когда-нибудь пробовал каунчек? Нет! Э-э, тогда ты многое в жизни потерял. Каунчек — это такая вяленая дыня. Понимаешь? — Он восхищенно цокнул языком и, воровато покосясь на майора Старосельцева, шепнул: — Бежим купим, а? Я знаю, вон там базарчик...

Но майор услышал.

— Может, обойдетесь? — взглянув на Мишу, на меня, сказал он. — Тоже еще сластены. Я бы не рекомендовал вам отставать от группы.

Мы молча присоединились к товарищам. Один за другим обогнув несколько длиннющих товарных составов, мы наконец выбрались на перрон и, лавируя между изнуренными снующими пассажирами, озабоченными путейцами, мальчишками, продающими воду, двинулись к вокзалу. В ту минуту мной да, пожалуй, и всеми моими товарищами владела одна мысль: поскорее забраться под крышу этого приземистого кирпичного здания и хоть чуточку передохнуть от жары. Мы пробирались сквозь толпу и тут, разорвав весь этот гомон: шарканье множества ног, усталые вздохи паровозов, лязг буферов, вдруг раздался отчаянный женский вскрик:

— Кру-ши-и-ински-ий!

Поверишь, я видел, как шедший рядом со мной Миша споткнулся об этот крик, словно о камень. Он остановился, поворачиваясь во все стороны. Но вокруг нас все также горланили мальчишки, кособочившиеся под тяжестью ведерных алюминиевых чайников, брели какие-то тетеньки с узлами, спешили бойцы и железнодорожники в промасленных комбинезонах, и ни одного женского лица, по которому можно было бы догадаться, что именно она крикнула Мишу. Мы уже пошли было даль-

ше, но тут я и Миша, разумеется, тоже увидели молодую женщину, сквозь толпу продиравшуюся к нам со стороны рыжеватого кирпичного строения с размашистой надписью «кипяток». Я смотрел на нее и, можешь себе представить, видел, что чем ближе она подходила, тем медленнее, как-то тяжелее становились ее шаги. Казалось, будто каждый сантиметр размягченного знонем асфальта отнимал у нее частичку первоначальной отчаянной решимости.

Женщина нерешительно остановилась в двух шагах от нас, и я хорошо разглядел ее. У нее было продолговатое смуглое лицо южанки, с полными чувственными губами. У края этих жадных губ залегли две горестные морщинки, свидетельницы пережитого потрясения. Простенькое ситцевое платье плотно облегалo ее стройную фигуру, а в коротко подстриженных волосах как бы барахтался путаный клубок золотистых шмелей. Моляще прижав ладони к груди, женщина дрожащим голосом спросила Мишу:

— Ведь правда, вы Крушинский?

— Да-а, — недоуменно вздернув смолистые брови, пробормотал Миша.

— Вот видите, значит, я не ошиблась!

Ее голос чуть выровнялся, окреп. И лицо как бы высветлилось внутренней радостью. Но тревога, но боль, что предположение могло оказаться и ошибочным, не совсем еще прошло, и от этого у нее подрагивали кончики дугобразных бровей, а на губах лежала слабая, жалкая улыбка.

— Извините меня, — потерянно взглядывая на нее, видно, хотел ей что-то объяснить Миша. — Но я...

Однако коротко, нервно засмеявшись, женщина, вероятно опасаясь, что не успеет высказаться, перебила его.

— Все правильно. Мы действительно не знаем друг друга. И тем не менее, я сразу узнала вас. Вы ведь очень похожи на Женю. Ну как две капли воды. А я — Таня.

Мише ее имя ничего не говорило. Это было ясно даже нам. Но женщина упомянула имя его брата, пропавшего в первые недели войны, а это сразу многое прояснило.

— Женя жив? — вскричал Миша.

Ответить ей не дал майор Старосельцев. Вероятно, он чем-то отвлекся и не слышал ее короткого разгово-

ра с Мишей. А потому, продравшись сквозь толчею к нам, он раздраженно спросил:

— Крушинский, Пестерев, почему отстаєте? В чем дело?

— Простите, товарищ майор, это я задержала лейтенанта, — меня даже не беря во внимание, сказала женщина. — Понимаете, он брат моего... знакомого, погибшего под Севастополем. Я случайно увидела его...

Она спохватилась, что проговорились, и, округлив в замешательстве глаза, зажала ладонью рот. Но было уже поздно, ибо Миша так стиснул мою руку, что оставил на ней синяк. Спустя несколько дней он обмолвился, что в тот миг еле устоял на ногах. «Поверишь, — сказал он мне. — Ни до, ни после я не считал себя слабонервным. Но когда я услышал, что Женя погиб, перрон качнулся у меня в глазах. Мне даже показалось, что вот-вот люди посыпятся с него, как шелуха».

— Да-а, — глядя себе под ноги, вздохнул тогда майор Старосельцев. — Положеньице...

Он снял фуражку, расстегнул воротник гимнастерки, платком вытер лоб и короткую воловью шею. Он словно бы только теперь ощутил всю изнуряющую тяжесть духоты.

Неподалеку подхлестывающе засипел паровоз, это как бы всколыхнуло людей на перроне, и они, толкая нас, кинулись к составу. Вероятно, что гудок подтолкнул и майора Старосельцева на какое-то определенное решение.

— Ладно, — сказал он и, надевая фуражку, зачем-то взглянул на большие станционные часы у входа в вокзал, подвешенные к литому чугунному столбу. — Крушинский, вы свободны до утра. Беру грех на свою душу. Только, чтоб без происшествий!

Виктор Петрович замолчал. Он опустил голову, медленно вращая в пальцах трость. Я знал, что, уж начав говорить, он сам все доскажет, и потому не торопил его. И действительно, спустя какое-то время он набрал в грудь воздуха, и я уж подумал, что сейчас услышу, что было дальше. Но, длительно вздохнув, он по-прежнему молчал. И я не выдержал.

— Что же дальше-то было, Виктор Петрович? — спросил я.

Он поднял на меня как бы удивленные глаза и чуть насмешливо сказал:

— Дальше?.. Дальше мы пошли к вокзалу, а Миша с этой Таней, естественно, куда-то в город.

— Это мне примерно ясно. Но что было потом?

Виктор Петрович покосился на меня. Мне почудилось, что от моей назойливой нетактичности у него даже порозовели скулы. Но мне очень хотелось знать, чем все кончилось, и я сделал вид, что ничего не заметил.

— Потом Миша рассказал, что плоскокрыший глинобитный дом, куда Таня привела его, стоял на краю пустынной улочки городской окраины. Сразу за высоким саманным дувалом, ограждавшим двор, разлегался продолговатый пологий холм, поросший жесткой буровато-ржавой травой. А за ним, в неоглядном разливе голых полупесков, разметалась степь. Серая и нерадостная на вид.

Серо и неустроенно было и в небольшой боковушке мазанки, занимаемой Таней. Она или совсем недолго проживала в этой комнатухе и еще не успела привести ее в порядок, или просто — не очень заботилась об уюте. Во всяком случае, и давно небеленые стены, и земляной пол в трещинах да щербатинах ждали заботливую, хозяйскую женскую руку. Чем в тот миг привлекала комната, так это своей прохладой. Войдя в нее, Миша с таким облегчением вздохнул, словно бы по крайней мере во второй раз родился на свет.

— Присядьте, пожалуйста, на койку, — вслед за ним пройдя на середину комнаты, пригласила Таня и улыбнулась. — А я быстренько придумаю, чем вас угостить.

— Что вы! Не беспокойтесь, не надо! — присев было, Миша снова поднялся и протестующе поднял руки.

— Как это не надо, если ты мой гость? — совсем буднично сказала Таня, тем самым первая незаметно отбросив сковывавшую их неловкость. — Вообще посиди, отдохни от жары, пока я буду хлопотать.

Таня открыла дверку старой тумбочки, стоявшей в углу напротив кровати, и, то сгибаясь, то распрямляясь, начала доставать из нее какие-то продукты. Она выходила в коридор, где-то что-то начала готовить на примусе, возвращалась то за ложкой, то за солью, и Миша, молча сидевший на кровати, видел ее полные руки, точеные загоревшие ноги, полновесные бедра, обтянутые легким ситчиком платья. И хоть она была красива, стройна, это не вызывало у него никаких эмо-

ций. Их как бы не существовало. Ибо, глядя на Таню, он не видел ее. Все его думы были о брате. Ему было трудно свыкнуться с мыслью, что Жени уже нет в живых, что с ним надо навсегда расстаться, что отныне между ними пролег холодок вечности. Из них двоих Женя оказался менее счастливым.

Они были близнецами и, как у всех двойняшек, их жизнь тоже ничем друг от друга не разнилась. Ни в большом, ни в малом. Они одинаково одевались и стриглись, сидели на одной парте в классе, вместе ходили в кружок ОСОВИАХИМа, одновременно поступили учиться на один факультет Николаевского судостроительного института. Впервые их разлучила война. Спустя несколько дней после нападения фашистов, в институте был сформирован истребительный батальон. А еще через месяц, когда стало ясно, что предстоит эвакуация в глубокий тыл и большая часть студентов пойдет на фронт, перед братьями встал вопрос — кому из них идти на войну, а кому помочь эвакуироваться больной матери. Ехать в тыл жребий выпал Мише. Вот тогда-то он впервые и позавидовал брату.

В горестных раздумьях о Жене Мише случайно вспомнилось, как еще детьми они как-то попали на ярмарку. Мать, взявшая их тогда с собой, собиралась на деньги, вырученные от продажи яблок, сливочного масла, пары откормленных гусынь и других домашних продуктов, справить им кое-что к школе. Она дорожила каждой копеечкой, и ребята это знали. Но кругом для детей было так много соблазнов, что она, стремясь хоть чем-то порадовать сыновей, урвала им по гривеннику на мороженое.

Мороженщица, не старая, но уже раздобревшая женщина, с налитым неприветливым лицом, работала проворно. Ее розовые пальцы-сардельки то стремительно ныряли в цинковую банку, то мелькали над тарелками весов, то в поисках сдачи рылись во влажной кучке монеток на глиняной миске.

Миша был постеснительнее Жени и, по задуманной ими проделке, ему пришлось выстоять длинную очередь. Но вот он оказался у лотка. Протянув продавщице деньги, он взял мороженое и быстро завернул за киоск. А когда продавщица подняла глаза на очередного покупателя — перед ней стоял все тот же мальчик.

— Чего ты ждешь? — недоуменно спросила она.

— Жду мороженое, — не моргнув глазом, ответил Женя.

— Какое? Я же только что тебе отпустила!

— Не знаю. Я не брал, — невозмутимо сказал Женя и для вящей убедительности показал ей пустые руки.

Делать нечего. Помня, что брала у него деньги, продавщица снова отпустила две порции. Женя спокойно взял их, а она, уже отвешивая мороженое другим покупателям, что-то еще все бормотала себе под нос. Вспоминая после ее несказанно удивленное лицо, они часто смеялись своей проделке...

И вот Жени нет... В комнату вошла Таня, и Миша, таясь, смахнул слезу и непроизвольную, тихую улыбку воспоминаний. «Хорошо, что мама пока об этом не знает, — подумал он. — А то с ее сердцем... Не дай бог».

Таня легко перенесла тумбочку к койке и, застелив ее газетей, сказала:

— Ну, вот и стол готов.

Поставив на этот импровизированный стол алюминиевую чашку с дымящейся кашей из горохового концентрата и положив рядом две ложки, она тонкими ломтиками порезала пайку черного хлеба, очистила луловницу и, секунду подумав, вышла в коридор. Воспользовавшись кратким ее отсутствием, Миша поспешно развязал свой вещмешок и выложил на тумбочку буханку хлеба, селедку, банку мясной тушенки и три куска рафинада — все, что осталось от выданного ему в училище сухого пайка. Пошептавшись в коридоре с какой-то женщиной, вошла Таня, неся две алюминиевые кружки и непочатую бутылку настоящей водки.

— Теперь, кажется, все, — оглядев стол, сказала она и, вздохнув, присела возле Миши. — Ну, отметим нашу встречу? Ты мужчина, тебе разливать.

— Я вообще-то не употребляю, — неумело сковыривая сургуч с горлышка бутылки, сказал Миша и, виновато улыбаясь, добавил: — Во всяком случае до сих пор не пробовал.

— Совсем? — взяв у него бутылку и разлив водку по кружкам, недоверчиво спросила Таня.

— Абсолютно.

— Поначалу Женя тоже не пил. Это хорошо. Мой тебе совет: держись и дальше так. Не пей ни при каких обстоятельствах. Но сейчас выпьем. Если уж не за наше знакомство, то хоть за Женю. Помянем его.

— Женю помянем, — посуровев, эхом отозвался Миша и потянулся к кружке. Но, прежде чем выпить, он сказал: — Может, пригласишь женщину, с которой шептались? А то как-то неудобно.

— Нет! — обеими руками держа перед собой кружку, холодно и непреклонно отрезала Таня. — Сами помянем.

Миша стал собираться уже под вечер, когда багряный луч солнца, скакнув через дувал, начал медленно угасать на подоконнике.

— Ты куда? — непонимающе спросила Таня.

— Как куда? Пойду в часть. Пора.

— Зачем? Ведь майор сказал, что ты свободен до утра?

— Ну, мало что сказал майор. Он такой же маршевик, как я. И потом, спать тут негде, да и не совсем удобно, — и он покосился на кровать, тонущую уже в редких сумерках.

— Что за нелепость! Поспишь здесь, а я переночую у хозяйки. Мы ведь толком еще и не поговорили, а ты уходить.

— Все-таки я пойду.

— Никуда ты не пойдешь! До утра я тебя не пушу! — решительно заявила Таня.

Она перенесла на прежнее место тумбочку и, подойдя к двери, вложила крючок в пробой.

— Тебе нельзя показываться сейчас в городе хотя бы уже потому, что ты выпил. Вот отдохнешь, и ступай себе на здоровье.

Взбив подушку, Таня взяла Мишу за плечи и почти силком усадила обратно на кровать. Потом она под села к нему, взяла из рук и кинула к дверям вещмешок. Посидев задумчиво несколько секунд, она повернулась к нему и, с какой-то неумной жадностью рассматривая его лицо, потянулась к его волосам, начала медленно перебирать их. Ушел от нее Миша под утро...

А через день мы отправились на фронт. Не знаю, что думал Миша о той встрече с Таней, бывает, что и одну ночь не забудешь во всей своей долгой жизни, понятия не имею, как складывались их дальнейшие взаимоотношения, во всяком случае, писем от нее он не получал. Лишь перед самым концом войны, мы тогда были с ним в Германии, он получил от нее одну-единственную весточку. Он дал мне прочесть то письмо.

«Я очень виновата перед тобой, — писала Таня. — Не ведая ничего, ты подарил мне ночь, осчастливившую меня на всю жизнь. Все то, что я тебе рассказывала про Женю, — правда. Лишь одно я утаила от тебя, то, что была женой твоего брата. Да, я была женой Жени, и именно это обстоятельство толкнуло меня на ужасный поступок — отдаться тебе. Но мне не в чем каяться. А прочитав это письмо, ты меня тоже поймешь и не осудишь. Как и любая женщина на свете, я тоже хотела стать матерью. Желание родить ребенка стало особенно преследовать меня после страшных обстрелов и бомбардировок немцами станции Мекензиевы Горы у Севастополя, где погибли Женя и почти все николаевские студенты — бойцы батальона морской пехоты, державшие там оборону. Я чудом осталась жива после бесчисленных атак фашистов. И страшная мысль, что и я могла бы быть растерзана металлом и что после меня на земле не осталось бы ничего, закралась в душу и уже ни на миг не оставляла меня. Мне не давала покоя мечта видеть около себя дочурку или сынишку. Я грезилась этим. Я понимала, что при желании смогу со временем стать матерью, но терзалась тем, что этот ребенок уже не будет Женин. Поверь, чувство упущенной возможности заставляло меня каяться денно и ночно. Я была в страшном отчаянии, что прошлое не вернешь даже на миг, как вдруг судьба смиростивилась надо мной, послав встречу с тобой. Разве могла я после всего пережитого и передуманного упустить такой подарок судьбы?

Я догадывалась, что до меня ты еще не знал женщин, как плохо знал жизнь вообще. Ты не знал, что такое война, на которую шел с открытой душой, с мальчишеской верой в победу. Возможно, ты шел на нее даже с затаенной мечтой совершить подвиг. Но война — это прежде всего тяжелый труд, и я тебе об этом говорила. Мы с тобой почти одного возраста, но тогда ты еще многого не понимал. А я к тому времени провела больше года и уже успела многое испытать. Я успела любить и быть любимой, видела море людского горя. Я узнала, чем измеряется человеческая жизнь, и научилась ценить ее. Я потеряла самое дорогое — любимого человека, и потому была так неукротима в своем желании. Да, в какой-то мере жизнь, после всего страданного, проявила благосклонность ко мне и я

встретила тебя. Теперь у меня есть сын, мой чудный Женечка, и разве можно желать себе еще большее счастье? Ты будешь страдать, я знаю. Но прости меня, если можешь, и не ищи. Ибо между нами всегда стоит тень твоего брата, а второй раз мне через нее не переступить».

Виктор Петрович опять замолчал, целиком уйдя в себя. Я не стал донимать его новыми расспросами, ибо было бы наивно не догадаться, что никакого лейтенанта Крушинского в природе не существовало. Все, что я услышал от Виктора Петровича, был рассказ о нем самом. Теперь многое в его жизни стало мне понятным. Мне стало ясно, почему он живет без семьи, его стремление работать именно на заводе сельскохозяйственного машиностроения, дающего ему возможность бывать во многих уголках страны. Я понял, что Виктор Петрович не внял просьбе Тани и продолжает по сей день поиски ее и сына.

Дымчато-серая мгла, затянувшая небо, по-прежнему была раскалена. Солнце пекло все так же нещадно. Асфальт у скамьи плавился от зноя, и от трости Виктора Петровича в нем оставались глубокие вмятины. В сквере по-прежнему не было ни души. Недолго посидев над раскрытой книгой, укатила свою нарядную коляску и давешняя юная мамаша. Лишь мы одни упрямо сидели под медленно перемещавшейся куцей тенью амурского бархата.

Мы сидели молча. Я искоса поглядывал на мужественное смуглое лицо Виктора Петровича, и теперь еще каменеющее горечью утраты, смотрел на его крепкие руки, так и не узнавшие тепла детского тельца, и молчал, понимая, что хоть порою судьба и бывает несправедлива конкретно к какому-нибудь человеку, жизнь от этого не становится хуже. А главное, она продолжается хотя бы в сыне того же Виктора Петровича.

СОДЕРЖАНИЕ

От самых истоков. Б. Миллер 3

Поэзия

- Э. КАЗАКЕВИЧ. *Песенка о станции Тихонькой*. Перевод Л. Школьника. 7 мая 1934 года. Перевод Л. Школьника. *Большой мир*. Перевод Л. Школьника. *Наша земля*. Перевод Л. Школьника. «Я молод. И часто вечерней порою...» Перевод Л. Школьника. *Мои песни*. Перевод В. Соломатова. «Где-то там в ююлетье моих увлечений...» Перевод В. Соломатова. *За порогом я оставил...* Перевод В. Соломатова 13
- А. ВЕРГЕЛИС. *Песнь о безруком человеке*. Перевод Н. Гребнева 21
- Л. ВАССЕРМАН. *Биробиджан—мой дом*. Перевод Л. Школьника. «Весна...». Перевод В. Соломатова. «А что здесь было? Дебри да болота...». Перевод В. Соломатова. *Семилетним*. Перевод В. Соломатова. *Замерзает река*. Перевод В. Соломатова 31
- С. ВЕХТЕР. *Биробиджан*. Перевод В. Соломатова. *Сердце*. Перевод В. Соломатова. *За все в ответе*. Перевод В. Соломатова. *Песня*. Перевод В. Соломатова. *Новое*. Перевод В. Соломатова 36
- И. БРОНФМАН. *Маришка*. Перевод Л. Школьника. *В родном селе*. Перевод А. Рыбочкина. *Улица Шолом-Алейхема*. Перевод В. Соломатова. *Весенние мотивы*. Перевод А. Семенова. *Сыграй мне, Нехамеле!* Перевод Р. Добровенского 40
- Х. БЕЙДЕР. *Первопроходцы*. Перевод Л. Беринского. *Дождь в Биробиджане*. Перевод Л. Беринского. *Первый глоток*. Перевод Л. Беринского 46
- С. ГАЛКИН. *Стража верна*. Перевод В. Потаповой. *Окрыленное слово*. Перевод В. Потаповой. *В парке*. Перевод В. Потаповой. *Начало зимы*. Перевод Л. Озерова. 50
- О. ЕРМОЛАЕВА. «Мне страшно, что вольная стая...», «Нет, я не хотела бы смирно сидеть...», «Та девочка, что по полям блуждала...» 56
- Н. КАПУСТО. *Вы были в степи? «Рыжими осенними горбами...» «Вот опять в лучах рассвета...» «Оно одно, мое желанье...» «Вот опять передо мною...» «Блещут молнии ятаганами...» «Дуб, дожидаясь ветра шалого...» «Чтоб над полем и над кручей...» «Это не придумаешь нарочно...» «Получив предписание срочное...»* 60

А. КОБЕНКОВ. <i>Мама поет. «В зеленом доме женщина жила...» Улица. «Как это ни печально...» Лирический монолог</i>	66
А. КУШНИРОВ. <i>Лесной дом. Перевод В. Потаповой. О камнях, которые легли в фундамент. Перевод Р. Моран</i>	73
П. МАРКИШ. <i>Дальневосточное. Перевод Д. Бродского</i>	76
В. МОРОЗОВ. <i>Ключ «Березовый». Ручей. Знаю я лесные тропки. Аист. Земляника. Красный град</i>	80
Б. ОЛЕВСКИЙ. <i>Первые. Перевод Д. Бродского. В селе. Перевод Д. Бродского</i>	84
В. СОЛОМАТОВ. <i>Отчество. «Крутые подмывая берега...» «Уже проседает...» Моя земля</i>	87
И. ФЕФЕР. <i>Свадьба. Перевод Д. Бродского</i>	91
Н. ФРИДМАН. <i>Старые имена. Перевод Л. Школьника</i>	94
И. ХАРИК. <i>Ночь в Биробиджане. Перевод Д. Бродского</i>	97
Л. ШКОЛЬНИК. <i>Пора. Город, ставший судьбой</i>	101
И. МЕТЕЛКИНА. <i>Моей матери. Пришла весна</i>	106

Проза

Д. БЕРГЕЛЬСОН. <i>Биробиджанские мотивы. Перевод автора</i>	111
С. БОРЖЕС. <i>Сторожа сада. Рассказ. Перевод Р. Шойхета</i>	127
М. ГОЛЬДШТЕЙН. <i>Однажды весной. Рассказ. Перевод М. Шамбадала</i>	132
С. ГОДИНЕР. <i>В новой избе. Рассказ. Перевод Р. Шойхета</i>	142
Т. ГЕН. <i>Отъезд. Рассказ. Перевод автора</i>	156
Б. МИЛЛЕР. <i>Пэрл и Ной. Рассказ. Перевод Н. Фридмана</i>	163
И. РАБИН. <i>Эшелоны приходят. Рассказ. Перевод Р. Шойхета</i>	183
Г. РАБИНКОВ. <i>Письмо. Рассказ. Перевод автора</i>	199
Р. ШОЙХЕТ. <i>Единожды и навсегда. Рассказ</i>	208



ЛИТЕРАТУРНЫЙ БИРОБИДЖАН

Редактор Л. С. Овечкина
Художественный редактор А. Н. Посохов
Технический редактор Н. Б. Хохлова
Корректор Т. В. Киевская

ИБ № 1261

Сдано в набор 20.01.84. Подписано к печати 05.04.84. ВЛ 04444. Формат 84x108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. 11,76 усл. л. 11,76 усл. кр.-отт. 10,55 уч.-изд. л. Тираж 10 000 экз. Заказ 539. Цена 1 р. 20 к. Хабаровское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 680620, г. Хабаровск, ул. Серышева, 31. Типография № 1 краевого управления издательств, полиграфии и книжной торговли. 680620, г. Хабаровск, ул. Серышева, 31.